

[Polaris]

Ольга Шалацкая



КИЕВСКИЕ КРОКОДИЛЫ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

XXXII



Salamandra P.V.V.

О. Шалацкая

КИЕВСКИЕ КРОКОДИЛЫ

Salamandra P.V.V.

Шалацкая О. П.

Киевские крокодилы. Илл. В. Бойко. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. – 250 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXXI).

Сводни, торговцы детьми, игроки и гуляки, тайные игорные салоны и дома свиданий, грабители, мошенники и «подкальыватели», содержанки, хипесницы и прочие «погибшие, но милые создания» – в сенсационном романе «Киевские крокодилы», рассказах и очерках О. Шалацкой.

Книга О. Шалацкой о жестоком и безжалостном подпольном мире старого Киева вышла в свет задолго до революции и с тех пор переиздается впервые.

Ол.П.Шалацкая



КИЕВСКИЕ КРОКОДИЛЫ

Роман

Крокодилы суть животные
весьма опасные для детей.

(Из старого учебника)

ЧАСТЬ I

I.

По одной недавно еще тихой и малонаселенной улице быстро разраставшегося Киева высился кирпичный пятиэтажный дом, казенной архитектуры, разбитый на множество квартир и кишаций жильцами будто муравейник. В нижнем этаже его приютилась мелочная лавочка с заманчиво размалеванной вывеской, на которой изображался турок, в необычайно широких синих шароварах, раскуривающий кальян. Доморощенный художник, очевидно, силился олицетворить наслаждение на лице восточного человека, но у него получилось вместо наслаждения тупое страдание. На другой половине вывески, разделенной входной дверью, красовались намалеванные булки, колбаса, чай, сахар и прочие заманчивые снеди.

Из маленькой квартиры в пятом этаже, по каменной винтообразной лестнице, спустилась молодая девушка в легкой драповой кофточке и белом шерстяном платке. Она спешила в мелочную лавочку.

За прилавком стояла толстуха лет сорока пяти в просторной кацавейке. Лавочницу звали Агафьей Гурьевной Тихоновой. Бакалейными товарами она торговала добрую половину своей жизни по разным концам Киева; здесь же обосновалась недавно, но успела зарекомендовать себя и дела ее шли бойко. В оборот она пускала довольно солидный капитал и ее лавочка считалась лучшей в околотке; там всегда можно было достать более доброкачественные продукты, притом Агафья Гурьевна не обвешивала так, как прочие торговцы,

Молодая девушка торопливо вошла в лавку.

— Отпустите мне полфунта сладкого миндаля, — сказала она.

Лавочница повернула широкую спину к расположенным

по стене полкам, отыскивая требуемый товар.

— Как здоровье мамаша, лучше ли ей? — участливо осведомилась Агафья Гурьевна. — Я видела доктора, не к вам ли он шел?

— Да, к нам. Маме плохо, очень плохо. Доктор прописал новые лекарства и для питья миндальное молоко, — отвечала девушка. — Вот я куплю у вас миндаль и попробую ей это сделать.

— Миндальное молоко смягчает боль в груди, — одобрила лавочница. — Знаете ли вы, как его готовить?

— Знаю. Прощу вас — отпустите скорей, я оставила маму одну.

— Сейчас. Куда же я его заставила, не припомню. Это горький, а вам надо сладкого, — говорила Тихонова, перебирая стеклянные банки на полках. — Вот он.

В лавку ворвалась горничная, проживающая в том же доме, у чиновника Недригайлова, служащего секретарем в одном учреждении.

— Тетя, дайте мне скорее булок, сухарей и сахару. Барин сейчас отправляется на вечерние занятия и самовар кипит уже на столе, — зататорила она.

— Подожди малость: — прежде отпущу барышню, у них мамаша больна, — отозвалась лавочница.

— Ах, тетя, право некогда: барыня рассердится, я должна спешить, — торопила лавочницу горничная, прыгая от нетерпения.

— Погуляй немного, сейчас сюда кавалеры придут, — отвечала Тихонова, отвешивая миндаль.

— Ну, тетя, и скажут же! — взвизгнула горничная; видно было, что острота лавочницы вполне пришлась по ее вкусу.

— Легок на помине кавалер, — говорила лавочница, увидя входящего в дверь дворника дома, молодого парня по имени Захара.

— Две бутылки фиалки, — сказал тот.

Агафья Гурьевна также попросила его подождать, вручила девушке сверток и сдачу с рубля, говоря:

— Может быть, вам одолжить ступку для толчения миндаля?

— Благодарю вас.

— Вообще, все, что нужно, барышня, не церемоньтесь, пожалуйста, приходите ко мне и я дам. Я от всей души готова услужить людям в вашем положении.

— Нам пока ничего не надо, — отвечала девушка и хотела уйти,

— Барышня! — остановил ее дворник: наш управляющий собирается к вам прийти сказать, чтобы вы свою больную мамашу не держали в квартире, потому что она долго хворает, почитай с осени, на жильцов жутьбу и сомнение наводит. Лучше вам их в больницу отправить до Княгини, что ль. Там бедных принимают бесплатно.

— У мамы болезнь не заразительная, у нас бывает доктор и ничего не говорит, — сказала девушка, — наконец, я ни за что не соглашусь расстаться с нею.

— Как хотите, только к вам сам управляющий придет и попросит очистить квартиру. Он уже не раз осведомлялся у меня: умерла ли старушка и отчего она так долго болеет.

— Бога ты не боишься! Куда же они зимой денутся с больной старухой? — вступилась лавочница. — Чего он хочет, твой поляк?

— Потому жильцы сомневаются, могут квартиры запустовать, — пробормотал дворник.

— Моя барыня такая капризная, — фамильярным тоном обращаясь к девушке, заговорила горничная, — жаловалась управляющему: помешала ей чем-то ваша мамаша. «Все стонет», говорит, «противная старуха»; как будто сама не думает умирать.

Молодая девушка повернулась, чтобы выйти из лавки, глаза ее наполнились слезами и она боялась разрыдаться здесь.

— Не беспокойтесь, барышня: — затворив лавочку, я зайду к вам, не будете спать? Впрочем, какой там сон возле больного человека.

— Зайдите, — отвечала девушка, поспешно удаляясь и крепко прижимая сверток к груди, где она ощущала ужасную ноющую боль.

— Вот несчастная! — со вздохом отозвалась лавочница, обращаясь к покупателям — дворнику и горничной: — в таком возрасте лишиться матери.

— Не век же жить старухе, — возразил дворник, — пора помирать. Барышне, чай, лет 17 будет, а я так от своей матери остался трех годов, совсем не помню ее. Жених найдется, али там содержатель какой; наш поляк не прочь взять ее. Он все у меня расспрашивает, как барышня Осиевская поживает, и ждет не дождется старухиной смерти.

— Вон оно что! Барышня не согласится еще, — оборвала лавочница.

— Нужда заставит, коли день, другой посидит не евши, — отвечал Захар, принимая в руки бутылки.

— На место поступит, заработает хлеб.

— Пускай, мне нужды-то мало, — отвечал Захар, удаляясь с покупками и хлопая дверью.

— Болван, — произнесла Агафья Гурьевна, сдвигая густые брови, причем какая-то мысль проползла по ее лицу и заставила ее сделаться рассеянной на некоторое время.

— Ах, тебе кренделей и булок и что еще? Давай книжку, запишу; все долг, когда же отдадут деньги, — говорила она горничной чиновника Недригайлова.

— Как твои господа поживают, что делает барыня? — допытывалась Тихонова, концентрируя таким образом все сплетни вокруг себя.

— Барыня все чего-то злится, ругает барина, бьет детей, выгоняет ко мне в кухню, а сама запрется в своей комнате, книжки читает, или наряды перебирает.

— За что же она ссорится с барином?

— Ей хочется бывать в театрах, носить дорогие платья, а у барина не хватает средств. Он получает сто рублей в месяц. Я сама слышала — она его упрекала, недостает денег на хозяйство, того не за что купить, другого. А он — что ж делать, Сонечка? где взять? не идти же красть, я ведь чиновник. Она ему еще что-то говорила, указывала на других

господ, которые хорошо живут, имеют много прислуг, мамку, а у нас одна несчастная Луша... Это на меня-то. Взяток я, душенька, не могу брать, возражает барин; она так зло и ехидно засмеялась и обозвала его каким-то словом.

— Чего ей надо? кусок хлеба имеет, у других и этого нет, — рассудила Агафья Гурьевна, все еще что-то обдумывая. — Разве то — молода, хочется побывать в обществе, на людей посмотреть и себя показать, а этого нельзя.

— Ну да, оттого-то она и злится, что не за что; квартира стоит тридцать рублей в месяц, каждый день на базар более рубля выходит, то дров купят, или еще что-нибудь и концы с концами не сводят. Отворила она раз гардероб свой и начала перебирать платья, вынула одно ситцевое, изорвала на клочки, лоскутья отдала детям, после чего перепорола их и выгнала ко мне в кухню. Дети плачут, я дала им скушать по котлетке, они будто утешились. Она ж потом меня упрекала, зачем, мол, котлеты поела; я молчу.

Молодая девушка поднялась по лестнице в пятый этаж, тихими шагами подошла к своей квартирке и остановилась отпереть ее.

Из дверей соседней квартиры выглянула молодая женщина в кокетливом пеньюаре, с пышно причесанными волосами, напудренным лицом и сказала:

— Вы, милая моя, не видали нашей прислуги? — вероятно, все сплетничает с лавочницей.

Девушка сделала вид, будто не слышит этих слов. Впервые, ей не понравилось обращение: «милая моя»; разве я прислуга? — подумала она, а во-вторых, капризная чиновница преследовала ее больную мать.

— На сплетни все имеют уши и язык, — обиженно произнесла дама и затворила за собой дверь.

Молодая девушка также вошла в свою маленькую квартиру, зажгла лампочку, поставила самовар, подложила угольев, раздула его и приготовилась чистить миндаль.

В следующей комнате перед иконой теплилась лампадка. На постели, прикрытая ватным одеялом, лежала старушка с морщинистым исхудалым лицом, заострившимся носом и тяжело дышала.

— Ты, Лида? — спросила она, раскидывая по одеялу свои руки.

— Я, мамочка. Сейчас приготовлю тебе лекарство, — отвечала девушка.

— Дай... пить... — с трудом произнесла больная. Лидия поднесла к запекшимся губам матери стакан с водой. Старушка жадно припала к нему, отпила два-три глотка и опять откинулась головой на подушку.

— Ох, тяжело мне, не знаю, переживу ли эту ночь, — говорила больная. — Как ты, моя бедная детка, останешься! Никого у тебя нет... ни одной родной души. Съедят тебя злые люди... и кости мои в могиле будут переворачиваться.

— Не говори так, мамочка, может быть, тебе станет лучше, примешь микстуру, которую тебе прописал доктор, — сказала Лида.

— Нет, ничто уж не поможет, чувствую, что смерть пришла, — оставлю тебя одну, — стонала старуха.

— И я с тобой умру, мамочка, — заплакала Лида.

— Ты молода, тебе нужно жить, только будь осмотрительна, Лидочка, не слушай злых людей, а помни все, что тебе говорила мать, поступай так, как тебе подскажет добрый голос твоего сердца. Сердце у тебя хорошее, оно не обманет тебя. Постарайся найти место себе, работай и молись за меня...

— Всегда, мамочка. Могу ли я когда-нибудь забыть тебя?

— Будь умницей, доброй и хорошей. Помни, что здесь на земле временная жизнь, временные лишения и мучения, а там, куда я иду, для души бесконечная жизнь. Не делай ничего худого, старайся всеми силами избегать злых людей, а добрых слушайся.

Она застонала и схватилась руками за грудь.

Разговор утомил больную. Она сомкнула глаза и погрузилась в полужабытье.

Лида, стараясь все делать бесшумно, принялась готовить миндальное питье.

Она обварила кипяченой водой миндаль, после чего при- села очищать его от шелухи.

Слезы оросили лицо девушки, она горько плакала, чуя неминуемую беду. Умрет ее дорогая старушка... Доктор сегодня, нахмутив брови, на ее тревожный вопрос сказал:

— Плохо, очень больна...

Ему все равно, будет ли жива старушка или умрет, всем безразлично, только у ней разрывается сердце, а помочь она ничем не может. Если бы можно было половину своей молодой жизни отдать за спасение матери, она бы не задумываясь это сделала. Даже всей своей жизнью она пожертвовала бы для матери; зачем ей жить одной без ее дорогого друга?

Никому не нужна ее больная. Недригайлова сердится даже, что старушка стонет, и просила управляющего выселить их из квартиры. Есть же такие нехорошие злые люди! Только лавочница, Агафья Гурьевна, кажется, добрая и сочувствует им немного...

Лида тяжело вздохнула и принялась растирать миндаль железным пестиком, обращая его в мягкую, рыхлую массу.

В дверь кто-то постучал.

— Кто там? — спросила Лидия.

— Это я, панна Осиевская, управляющий дома. Будьте добры, откройте, — раздался вкрадчивый голос.

Лидия сняла крючок. В комнату вошел господин лет 42, с лисьей физиономией, рыжими, слегка подфабранными усами. Дорогая енотовая шуба, составлявшая, как видно, его гордость, была накинута на плечи. Грудь, облаченная в белую манишку, оставалась открытой; по жилету протянулась толстая золотая цепочка от часов. На указательном пальце блистал перстень.

— Честь имею кланяться и просить извинения у панны, что зашел, так сказать, мимоходом. Видите ли: некоторые жильцы изъявляют претензию, неосновательную по моему личному мнению, будто ваша мамаша долгое время болеет опасною болезнью, и просят меня, чтобы я предложил вам перейти на другую квартиру. Но я отвечал, что скорее выселю всех их, нежели откажу вам: так как я человек с большим добрым сердцем и всегда вхожу в положение людей. Собственно говоря, я зашел осведомиться о здоровье пани

и сказать вам, может быть, ее удобнее поместить в больницу, то с своей стороны готов предложить закрытый экипаж, весьма удобный...

— Нет, я не буду помещать мать в больницу, а сама хочу за ней ухаживать. Меня прошу не беспокоить; деньги за квартиру вам уплачены и я нахожу, что нам больше не о чем разговаривать, — ответила Лидия, гордо вскидывая голову.

— Деньги всегда можно возвратить, — возразил пан с лисьей физиономией и вы шел.

Лидия, дрожа от негодования, заперла за ним дверь, упала на топчан и разрыдалась.

Больная застонала. Девушка отерла слезы и бросилась к старушке.

— Мамочка, вот миндальное молоко, выпей, может быть, боль в груди облегчится, — сказала она, поднося к губам матери стакан с питьем.

Старушка жестом отстранила его от себя.

— Поздно уже, ничего не поможет. Священника позови... завтра утром, если только доживу... нечем дышать.

II.

Лидия припала к больной, иссохшей груди матери, дававшей ей некогда жизнь, и прислушалась, как слабо, точно отрываясь, билось ее сердце. В то же время она взяла руку матери и старалась согреть ее своим дыханием. Горячие слезы оросили худую, изможденную руку со слабо бьющимся пульсом...

— Дорогая мамочка, — шептала девушка, — милая, дорогая моя!...

Больная стихла на время, потом вдруг заметалась по постели, схватила себя за грудь и глухо застонала.

— Что будет с моей Лидой, что будет?!

После этого она впала в забытие.

Лидия вышла в другую комнату, хотела молиться и не могла: чувство слишком сильного горя давило ее своей тяжестью. В эту минуту постучала Агафья Гурьевна.

Лавочница вошла с добрым участливым лицом, держа в руках какой-то сверточек...

— Милая барышня, — начала она, — сегодня я делала пирожки, может быть, скушаете, а это коробочка с мармеладом.

— Зачем вы принесли, — изумилась Лидия, — право, мне не до того.

— Как мамаша? — спрашивала Тихонова, опускаясь на топчан.

— Притихла немного, она страдает ужасно и все беспокоится о моей участи, — отвечала Лидия.

— Скажите, что значит сердце матери... — сочувственно отозвалась Агафья Гурьевна. — У вас никого нет родных?

— Здесь никого. В воронежской губернии проживает брат; он был офицер, но женился на помещице, вышел в отставку и поселился в имении жены, где хозяйничает. Писала я ему: мама больна и на лечение нужны деньги; он с неудовольствием выслал мне какие-то пустяки и, между прочим, в письме выразился так, что не имеет права распоряжаться жениными средствами и чтобы, в случае смерти мамаша, я не вздумала к ним приехать. Я должна буду искать себе места.

— Ничего... Не робейте... Свет не без добрых людей. Я познакомлю вас с одной дамой, очень богатой, такой милой и сострадательной, которой ничего не будет стоить вас хорошо устроить, — сказала Агафья Тихоновна, что-то обдумывая про себя.

— Кто она такая? — спросила Лидия.

— Помещица, несколько тысяч десятин имеет. Одним словом, влиятельная особа. Я поговорю с ней, быть может, она еще возьмет вас к себе, это было бы для вас счастье.

— Что будет, то будет, я совершенно равнодушно отношусь к своей участи, мне маму жаль, — сказала Лидия и, слышав стон больной, поспешно бросилась к ней.

Из чувства деликатности Агафья Гурьевна не сочла удобным далее продолжать свой визит и удалилась.

Утром старушка, исповедавшись и причастившись, отошла в лучший мир.

Добрая Агафья Гурьевна прислала двух женщин, которые убрали покойницу и уложили на стол, а Лидия бессмысленно глядела на то, что они делали, сама ни в чем не принимая участия.

Те же чужие люди распоряжались похоронами. Молодая девушка, точно загипнотизированная, шла за гробом матери. Только в церкви при последнем прощании у ней вырвался ужасный вопль, который дважды не вылетает из груди. Она впала в бессознательное состояние и ее отвезли домой.

— Милая моя, вы пропадете с тоски в этих стенах, идите ко мне, — хлопотала Агафья Гурьевна, приводя ее в чувство.

— Оставьте меня... — отвечала Лидия. Несколько дней она не выходила из своей квартиры, сидела запершись и почти ничего не ела.

Однажды Лидия возвратилась из церкви, по рассеянности она забыла даже замкнуть входные двери, прошла в спальню и легла на постель матери.

Девушка лежала с открытыми глазами, но ничего не видела. Вдруг в комнату вошла молодая женщина и остановилась прямо перед ней. Было ли то видение, галлюцинация — Лидия не могла дать себе отчета.

Она силилась припомнить, где могла видеть эту женщину, черты лица ее казались будто знакомыми.

Та была высокая ростом, стройная, гибкая брюнетка с большими серыми глазами, широко открытыми и уставленными прямо на Лидию, большим лбом и зачесанными вверх волосами, прямым носом, благородным разрезом губ, сохранивших мягкость очертаний. На ней было черное платье, короткая кофточка, опушенная мехом, и белый суконный башлык, подбитый голубым шелком.

— Здравствуйте, — проговорила она ровным мелодичным голосом. — Я знаю, что вы страдаете от разлуки с вашей доброй матерью, но знайте, что ваша разлука времен-

ная, вы опять с ней встретитесь. Я сама недавно пережила очень тяжкое горе и сочувствую вам... Я пришла предложить вам идти ко мне. У меня такая же маленькая квартира, как у вас, и трое детей. Пусть первая острота вашего горя пройдет под моим кровом... Я рада помочь вам чем могу... ну, хоть советом... Вы хотите искать себе места, не лучше ли вам будет поступить в общину сестер милосердия; впрочем, если вы придете ко мне, мы вместе обдумаем и решим этот вопрос... Верьте, что только искреннее желание добра привело меня к вам... Я христианка и верю в то, что когда мы будем стоять на суде Христовом, Он скажет: был Я болен, вы не навестили Меня, страдал, и не пришли, чтобы несколько бросить Мне утешенья слов свя-
тых!

— Я не пойду к вам, — как то странно, глядя на гостью, произнесла Лидия.

— Будьте осмотрительны сами. Не впадайте в слишком тяжелое чувство горя, а лучше читайте священные книги: библию, например, или послания апостола Павла...

— Я не пойду к вам, — твердила Лидия.

Прекрасная фигура женщины исчезла.

— Кто она, отчего же я не спросила ее имя? — вскричала Лидия спустя несколько минут, вскакивая с постели. Поспешно, набросив на себя платок, она бросилась на лестницу и чуть не сшибла с ног Недригайлову, возвращавшуюся домой с покупками в руках. Но прекрасной незнакомки нигде не видела.

— Уж не сон ли мне снился? — пробормотала Лидия, возвращаясь домой. — Почему она мне советовала читать библию и послания апостола Павла?

Агафья Гурьевна, заметив ее из-за стеклянной двери своей лавочки, зазвала к себе и провела в отдельную комнату.

— У вас есть послания апостола Павла? — спросила девушка.

— Нет, — отвечала Агафья Гурьевна, строя изумленную физиономию. — Думаете заняться чтением, это не поможет вам, а только еще больше расстроит. Вам надо общество людское, развлечение.

— Почему же та советовала? — думала Лидия.

— Погодите, я съезжу к той богатой даме, о которой говорила вам, она что-нибудь придумает для вас. Ее называют благотельницей рода человеческого. Скольких несчастных она устроила.

Лидия почти не слушала Тихонову, а все думала о таинственной гостье.

В лавку зашла какая-то старушонка в черной шубе и платке. Агафья Гурьевна пошептала с ней, указывая на комнату, где сидела, погруженная в раздумье, Лидия.

В Киеве давно уже носились то смутные, то более определенные слухи о некоей благотельной особе, устраивающей судьбы многих женщин. Одно время эта добродетельная фея обитала на Большой Васильковской улице, звали ее Татьяной Ивановной Балабановой.

Стояло прекрасное зимнее утро, небольшой морозец сковал землю; сверху сыпал маленький снежок, кружась звездочками. В просторной барской квартире, обставленной вполне прилично и комфортабельно, расхаживала полная дородная дама, одетая в широкий шерстяной пеньюар из пестрой турецкой материи.

В камине весело трещали дрова. На столе, застланном белой скатертью, кипел самовар, тут же находился кофейник, чашки, стаканы, корзина с печеньем, большой торт от Семадени, мясное блюдо, пирожки, две бутылки вина, одним словом, чай и завтрак вместе.

В соседней комнате возвышался массивный резной буфет, тесно уставленный батареей бутылок и почти заваленный всевозможными запасами. Возле буфета копошилась старушка в темном платье и платке. Другая пожилая женщина в зеленом платье и кофточке «фигаро» с чужого плеча хлопотала около самовара. Обе проживали у Балабановой в качестве приживалок. Старушку в темном платье называли Терентьевной, вторую Алексеевной. Они помогали Балабановой по хозяйству, в приеме гостей, а также выполняли все ее поручения и обдeldывали другие темные делишки.

Татьяне Ивановне на вид казалось не более сорока лет. Полное, несколько обрюзгшее лицо с сине-багровым румянцем, маленькие глаза смотрели весело, добродушно и вседовольно из своих щелок, широкий как бы вздернутый нос, полные круто изогнутые губы, слегка улыбающиеся.

Балабанова медленно вперевалку двигалась по комнате. Мимоходом она взглянула на большие часы, висевшие над камином. Стрелка указывала половину десятого.

— Алексеевна, голубушка, скорее налейте мне кофе, сейчас придет Сапрыкин, обещал передать что-то интересное, — сказала Балабанова звучным грудным голосом, присаживаясь к столу; — и вы, кстати, расскажите мне о той девушке, что приютилась у Агафьи Гурьевны.

Старушка в модном платье налила чашку кофе, добавила густых сливок и подала вместе с печеньем Татьяне Ивановне.

— Наливайте себе, чего хотите, и рассказывайте мне, что слышали, видели, вы знаете, я люблю за утренним чаем выслушивать ваши доклады, — произнесла Балабанова, милостивым жестом указывая на яства и откидываясь на спинку кресла.

— Благодарю вас, — отвечала Алексеевна, занимая место около благотельницы. — Посетила я Агафью Гурьевну, как вы приказали, видела девушку — Лидия Осиевская зовут ее, ничего, хорошенькая, молоденькая, лет 17, не более, только задумчивая такая: смотрит и будто ничего не видит. Агафья Гурьевна скоро приведет ее к вам, — говорила старушка.

— Ну, а еще что знаете? — спрашивала Балабанова.

— Зашла я еще к чиновнице Недригайловой, по указанию Агафьи Гурьевны. Барыня красавица: белая, полная, кровь с молоком, только очень пудрится, все: брови и волосы засыпаны пудрой. Я не посоветовала ей этого делать, говоря, что цвет лица скоро портится и кожа сохнет. Для поддержания белизны и юношеской свежести самое лучшее средство спермацетовые полотенца, каждое утро ими обтирать лицо. Я сама так в молодости делала, — скромно произнесла Алексеевна и сложила губы трубочкой.

Старушка любила вспоминать давно прошедшую молодость, хотя она не изобиловала мирными деяниями, а скорее носила бурный характер. Родилась и выросла она в Севастополе, в семье интендантского чиновника в самый разгар войны, откуда ее вывез в Одессу один офицер, обещал жениться, но через год бросил. Родные отказались, мать прокляла и не приняла, когда покинутая девушка вздумала вернуться под родительский кров. Вскоре умерла мать, домишко разрушили неприятельские бомбы и Алексеевна пустилась, что называется, во все тяжкие. Жизнь дарила ее контрастами роскоши и нищеты, пока все разрушающая старость не подкралась. В Киеве Алексеевна проживала около 15 лет, занималась нищенством, пока не попала в благодетельные руки Татьяны Ивановны.

— Недригайлова выслушала мои слова, сейчас же пошла умылась, после чего послала прислугу в косметический магазин, — продолжала Алексеевна. — Приятная барыня, угостила меня чаем с вареньем и мы побеседовали. Очень желает познакомиться с вами. Вошли детки, так она их прогнала в кухню.

— Ну, вот, дети, — развела Татьяна Ивановна своими белыми, выхоленными руками в золотых кольцах и браслетах, — устраивай их. Нынче, знаете, не очень то польстятся на таких, которые имеют детей, соображает: одну содержать или с детьми. Что же она говорила?

— Расспрашивала о вас, жаловалась на скуку.

— Что такое особенное представляет из себя Недригайлова, кому она может понравиться? — рассуждала Балабанова, закусывая.

— Барыня молодая, красивая, — защищала Алексеевна, — глаза голубые, волосы светлые, будто лен.

— Воображаю, какая там красота в 27 лет и трех детей имела! Куда я ее устрою?

— Денисовой нашли место, — скромно заявила Алексеевна, посасывая кусочек сахара, обмоченного в коньяк.

— То особенный случай, — подтвердила Балабанова. — Сколько я устроила этих недовольных своею судьбою женщин, пусть Бог мне даст столько здоровья, а ведь неблаго-

дарные: ни одна не пришлет строчки. Только когда Денисова уехала в Варшаву, Казимир выслал мне тысячу рублей; но что значат эти деньги для миллионера?

— Облагодетельствуйте Недригайлову, — сказала Алексеевна, отрываясь от чашки чаю.

Балабанова снисходительно засмеялась добродушным смехом, заклокотавшим как-то в груди.

— Хороший вы защитник, Алексеевна: быть по-вашему, сказала она. — Разве навязать ее какому-нибудь толстопузому купчине? Кстати, Ферапонт Григорьевич осведомлялся уже, нет ли у меня чего подходящего для него. Может быть, твоя барыня с переборами и мечтает о ком-либо вроде князя Зембулатова? Пусть не прогневается. Для таких трудно устроить девушку порядочной семьи. Это, конечно, между нами; у меня на днях была m-me Платонова и слезно просила сосватать двух ее дочерей. Вы знаете, Платонов ранее занимал прекрасное место с двухтысячным окладом, а теперь вышел в отставку по болезни: парализована вся левая часть туловища. Живут на пенсию. Семейство большое: пять дочерей и три сына, Олимпиада и Антонина уже невесты, 19 и 18 лет, белая и центифольная розы, как я их называю.

Два сына учатся в университете, третий гимназист. Расход вести привыкли по-барски, а средств нет; жизнь не шутит. Платонова плакала и чуть на колени не вставала передо мною: — устройте, Татьяна Ивановна, дочерей, тайно, чтобы никто ничего не знал. Из сочувствия к несчастной матери я взялась за это дело и оборудовала все как следует.

— Встретилась я как-то с князем Зембулатовым и говорю ему: не хотите ли, мол, жениться на милой, благородной особе, но без приданого? — Я меньше пятидесяти тысяч не возьму за свой титул; вы посватайте мне козу, да с золотыми рогами. Все же я сумела заинтересовать его Тосей, так что он пожелал ее увидеть.

Свидание я назначила в Купеческом собрании на одном из вечеров. Предупредила Платонову. Тосе сделали по мое-

му совету белое газовое платье и к поясу прикололи чайные розы; прелесть получилось, очарование.

Увидал Зембулатов, попросил меня представить его Тосе. Танцевал с нею, все так мило, любезно, прекрасно. Теперь Тося имеет до двухсот руб. в месяц, одевается со вкусом и помогает матери; никто ничего не знает. У них бывают гости, прекрасно умеют принять. Меня благодарят. Устроила я, таким образом, старшую, прибегает ко мне младшая, Липа. — Пристройте меня, — говорит барышня. — Другого Зембулатова у меня нет, — отвечаю я. Плачет барышня. — Ну, что я с ними буду делать!

— Не хочу, чтобы сестра из милости дарила мне свои старые платья. Хоть за черта рогатого с туго набитым бу-
мажником сосватайте. Жалко стало девочку. Обещала подыскать подходящего жениха и Липочке.

Если бы вы, говорю, бывали у меня, а то за глаза трудно. Она на другой день прислала мне свою фотографическую карточку. Теперь никому не хочется прозябать на свете, всех обуревают жажда счастья, блеска, нарядов. И, в самом деле, что за приятность терпеть лишения? Ведь лучше испытывать радости, нежели страдания. Оно и понятно, — заключила Балабанова и вздохнула от полноты сердечной.

Продолжительная беседа ее с Алексеевной вызвала ревность со стороны Терентьевны, возившейся в другой комнате, возле буфета. Старуха шумно двигала посудой и ворчала.

— Фекла Терентьевна, что ж вы не идете сюда? Совсем забыла про вас, — позвала ее Балабанова.

— Доброе утро! — сказала Фекла Терентьевна, появляясь с сердитым лицом, и прибавила: — сколько у вас в буфете паутины я обмела, то ужас. Ваши нерадивые слуги и не посмотрят, если бы не я, пауки сплели гнезда себе.

— Пейте чай, — перебила Балабанова.

Фекла Терентьевна присела к столу, все еще будучи не в силах освободиться от недоброго чувства, что сказывалось по злобному взгляду ее маленьких крысиных глазок.

— Вы бываете у Милитинки? Как она живет, что поделывает? — спросила Балабанова у Терентьевны.

Милитина одно время служила у Балабановой, нажила небольшой капиталец и открыла кухмистерскую на Подоле. Она в миниатюре обделывала почти те же дела, что и ее бывшая хозяйка, кроме того, гадала на картах.

— Хорошо живет, каждый день имеет доходы, — отозвалась Терентьевна.

— Воображаю, что делается в ее притоне. Удивляюсь, как еще ее до сих пор полиция не накрыла. И кто из порядочных пойдет к ней! Одни подонки!

— Те же самые бывают у ней, что и у вас: Ферапонт Григорьевич, — вставила Терентьевна.

— Ошибаетесь, далеко не все, — обиделась Балабанова. — Что ж вам-то мешает идти к ней?

— Мне и у вас хорошо, — уже умиительно произнесла Терентьевна. — От добра добра не ищут.

— То-то, знаете, что там не пообедаете, а я, слава Богу, человек двадцать каждый день кормлю около себя. Вот за это я не люблю вас, Терентьевна, что вы всегда говорите одни неприятности; как мило мы беседовали с Алексеевной; явились вы и намутили.

— Алексеевна всем угодна вам, — с ревностью отозвалась старуха.

— Она вежливее вас, лучше понимает приличия, а вы что сейчас позволили себе — сравнили меня с моей бывшей прислугой.

— И в мыслях этого не было! — отнекивалась Терентьевна.

Раздался звонок. Алексеевна поспешно отправилась открывать двери.

Вошел человек лет пятидесяти, с огромной лысиной на голове, светлой, будто вылинявшей бородой клинышком, в длиннополом сюртуке и лакированных полусапожках. Он благоговейно приложился к ручке Татьяны Ивановны и, приподняв полы сюртука, сел в плетеное кресло у стола, озиравшись в то же время по сторонам.

— Терентьевна, подите: — там прачка принесла белье, пересчитайте, все ли, а вы, Алексеевна, налейте чаю господину Сапрыкину, — распорядилась Балабанова.



Терентьевна

— Надо выйти. Как вы этого сами не понимаете: — барыня не любят, когда посторонние присутствуют при их разговорах, — вполголоса укорила Алексеевна подругу и, налив Сапрыкину стакан чаю, удалилась.

— Что скажете? — произнесла Балабанова, откидываясь на спинку кресла.

— Дела есть хорошие, — отвечал Сапрыкин, потирая руки: — стоит похлопотать. Сейчас я от одной важной особы, с которой имел конфиденциальный разговор, так сказать, по особому приглашению. Изволили позвать в кабинет и удостоить выслушать своих словес. Начали они так: «слышал я, что вы с одной дамой»... внимайте, Татьяна Ивановна, — и Сапрыкин поднял вверх указательный палец: — «хорошо обделываете некоторые дела по сердечной части. Случился и со мной такой грех, испробовал я все зависящие от меня средства, но не возымел успеха; иначе никогда бы не обратился к вам». Это изволили даже сказать с малой толикой презрения. «Если устроите, что я получу взаимность, то даю пять тысяч вознаграждения вам за комиссию».

— Ого! Кто же эта особа? — спросила Балабанова.

Сапрыкин оглянулся по сторонам и, точно испугавшись собственной фигуры, отраженной в зеркале, торопливо шепнул ей что-то на ухо.

Татьяна Ивановна полунасмешливо и снисходительно улыбнулась.

— Подлинно: седина в бороду, а бес в ребро. Уж не спятил ли он? — произнесла она.

— Ах, как можно так говорить! — отозвался Сапрыкин, поднимая дугообразно брови и глубокомысленно морща лоб. — Одно слово — Зевс возымел слабость. Все мы люди, все человеки.

— Конечно, — раздумчиво ответила Балабанова: — надо действовать. Она-то кто такая?

Сапрыкин вздохнул.

— Жена одного морского офицера. Фамилия ее Затынайко. Действовать здесь, скажу вам, очень трудно. Особа призналась мне, что она уже делала некоторые попытки к

приобретению благосклонности дамы сердца своего. Не могу, говорить, ничем заниматься. Оно и понятно: даже для здоровья вредно в их годы подобное волнение. С нашей стороны требуется приложить все старания.

— Затынайко? Что-то будто я слыхала эту фамилию. Не та ли, у которой муж убит в Японии туземцами? — припоминала Балабанова.

— Да-с, — подтвердил Сапрыкин.

— Что же там может быть недостигаемого? Нынче не те времена, тем более состояния у ней никакого нет. Неужели она предпочитает голодать, чем жизнь в довольстве! Такая особа, как Крамалей, может прилично обеспечить ее. Просто-напросто вы не умеете взяться за дело.

— Подите ж. Я сам теряюсь в догадках, — развел руками Сапрыкин.

— Может быть, она любит уже какого-либо молодого человека? — спросила Балабанова.

— Ничего подобного нет. Я осведомлялся у людей и сам следил.

— Я, батенька, не верю в добродетели. Ты знаешь семейство Платоновых? Что можешь сказать о нем?

— Ничего... прекрасное, благородное семейство. Только после болезни главы средства их пошатнулись; теперь же они опять поправились, наследство что ли получили, — пожав плечами, отозвался Сапрыкин, недоумевая, зачем она спрашивает о посторонних предметах.

Балабанова засмеялась.

— Какие ты там справки забирал, воображаю; разве ты можешь вникнуть во все тонкости? Я вот подошла к ней Алексеевну, посмотрю, что из этого выйдет.

— Ничего не выйдет, заранее предсказываю, пока сами не приметесь. У меня только на вас надежда, — подхватил Сапрыкин.

— Еще бы! Не родилась на свет еще та женщина, которая вздумала бы противоречить и не соглашаться со мной. Сколько я их видела! Каждая мало-мальски хорошенькая женщина тяготеет к нарядам, удовольствиям, стремится обставить блеском свое существование, а не прозябать. Впро-

чем, у меня возникает другой план: нельзя ли Крамалея познакомить с хорошенькой, молоденькой девушкой, Лидией Осиевской. Быть может, она понравится ему.

Сапрыкин махнул рукой.

— Какое там!.. и слышать ничего не хотят... сердце занято...

— Что же, она красива?

— Понятия о красоте, Татьяна Ивановна, довольно растяжимы; вы знаете давно, что для меня красивей вас не существует женщины в свете, а господин Крамалей предпочтет Затынайку, — отвечал Сапрыкин со вздохом.

— Что ты чепуху мелешь! — оборвала его Балабанова. — Я вот сейчас спрошу Алексеевну. Алексеевна, подите сюда! — звонко закричала она и, судя по вибрациям ее голоса, видно было, что у ней сильно раздражено женское любопытство.

Алексеевна немедленно предстала перед ней. Сапрыкин успел шепнуть Балабановой:

— Об имени особы пока ни слова, уважаемая Татьяна Ивановна, — и, пока та говорила с Алексеевной, он выпил вина и закусил.

— Скажите, голубушка моя, знаете вы m-me Затынайку? — спрашивала Балабанова.

— Немного знаю: муж ее убит в экспедиции на Востоке, трое деток осталось, — все девочки, одна лучше другой.

— Внимайте, Татьяна Ивановна, три девочки — одна лучше другой, в будущем могут представить барыш; раз мать пойдет по известной дорожке, за ней последуют и дети. Лет через десять опять капитал.

После этих слов Сапрыкин принялся вновь закусывать.

— А как вы ее находите: хороша она собой? — продолжала Балабанова спрашивать у Алексеевны.

— Очень даже: высокая, стройная, глаза газели, волосы, как у русалки...

— Ну вас, — махнула Балабанова рукой. — Вы всегда смягчаете ваши отзывы. Я вот спрошу Феклу Терентьевну. — Понимаете, я всегда смеюсь над моими старушками: такие разноречивые сведения приносят мне. Алексеевна, по доб-

роте своего сердца, всегда говорить одно хорошее, Терентьевна же наоборот, а я уже из этих разногласий, как председательница, постановляю свое резюме, — говорила Балабанова Сапрыкину,

Алексеевна отошла в сторону обиженно.

Татьяна Ивановна позвала Терентьевну. Та явилась по обыкновению со злобно сверкавшими глазами и недоброжелательно настроенной физиономией.

— Вижу уже, что ничего хорошего не можете сказать, — засмеялась Балабанова: — но пусть по закону всякая истина да подтвердится устами двух свидетелей. Скажите, милая моя, встречались вы с Затынайкой?

— Еще бы! Ее там весь околоток знает! Идиотка. Ест сухари из черного хлеба, спит на жесткой-прежесткой постели, в доме нет почти никакой мебели. Нужда вопиющая.

— С собой-то хороша?

— Урод. Высока, тонка как ветка, ни рожи, ни кожи, глаза как плоски, ни видят ни крошки!

— Неправда. Прелестное создание, — не выдержала Алексеевна: — вроде Тамары, которую соблазнил демон; стихами уже не припомню сказать, хотя в молодости всю поэму знала наизусть. Бывало, сижу на балконе, читаю, а севастьяпольские офицеры лихо проходят и любуются. Ночью раз так зачиталась Демона, что гляжу, идет ко мне и сам. Я вскрикнула и упала в обморок.

— Никогда я никакой чертовщиной не занималась, и когда они, проклятые, вздумали мне во сне являться, так я пила корень дикой розы, настоящий на водке, — сердито отозвалась Терентьевна.

— Что значит необразование: не понимают поэмы Лермонтова, — проговорила Алексеевна. Балабанова смеялась.

— Ну, сыщицы, — промолвила она, — берите сейчас на руки старые вещи и марш к Затынайке. Узнайте все и принесите мне самые свежие, животрепещущие новости. Расспросите хорошенько в мелочных лавочках, соседей и по-видайте ее.

Старухи исчезли.

Сапрыкин махнул рукой.

— Ничего из этого не выйдет: я три дня прожил в тех краях, крутился около самого дома, где она живет, обзрел, выслеживал и не добился толку.

— То вы, а мои мегеры сумеют к ней проникнуть.

— Что ж из того выйдет? Лучше сами съездите к ней.

— Прекрасно, но под каким же предлогом?

— Изобретательности вам не стать занимать, Татьяна Ивановна; старухи же ваши разойдутся по монополиям, тем дело и кончится.

— Не смеют они этого сделать. Во всяком случае, к обеду явятся. Не в первый раз посылать мне их. Впрочем, подумая, может быть, завтра сама заеду к Затынайке.

— Чем скорее, тем и лучше, — сказал Сапрыкин и откланялся, отговариваясь спешностью свидания с каким-то американцем.

Алексеевна и Терентьевна, получив от Балабановой наконку и строгий наказ не заходить в монополию — разошлись.

Место у дверей заняла молоденькая горничная Наташа.

III.

Балабанова прошла в спальню, переменяла пеньюар на тяжелое шерстяное платье, оправила прическу и опять вышла в столовую. Здесь она подошла к окну и поглядела на движущуюся улицу, толпу прохожих.

— Барыня, вас спрашивают какая-то молодая дама, — сказала Наташа.

— Узнай ее фамилию, — произнесла Балабанова, продолжая смотреть в окно.

— Недригайлова, — объявила Наташа.

— Проси, — как бы нехотя произнесла Балабанова.

Вошла среднего роста полненькая блондинка с пышно начесанными волосами. На голове ее сидела черная шапочка с пучком ярких цветов. Глаза у блондинки казались черными, что придавало им злобный оттенок. Присталь-

ный взгляд их точно колол, несмотря на то, что губы приветливо улыбались.

— Здравствуйте, — сказала она, кланяясь хозяйке. Татьяна Ивановна, видимо, произвела на нее приятное впечатление.

Балабанова протянула ей руку и пригласила садиться.

На столе все еще продолжал стоять самовар и завтрак.

— Чем могу служить? — произнесла Балабанова, откидываясь на спинку кресла в своей излюбленной позе и оглядывая гостью с головы до ног.

Осмотр оказался удовлетворительным.

Вместе с тем лицо Татьяны Ивановны приняло сентиментальное выражение; она вспомнила свою минувшую молодость, погоню за счастьем...

— Вы, вероятно, знаете уже от Алексеевны о моем чрезвычайно сильном желании познакомиться с вами, — заискивающим тоном начала Недригайлова.

— От кого же вы слышали обо мне? — спросила Балабанова.

— Помилуйте, Татьяна Ивановна! От кого только можно не услышать о вас, — возразила Недригайлова. — Раз я сидела в Царском саду около каких-то совершенно незнакомых мне дам. Помню еще, что была очень грустно настроена и слышала их разговор о вас. У меня тогда же мелькнула идея спасения, но обратиться к вам я долгое время не решалась. Потом я жила в одном доме с Денисовой и знала всю ее историю. Денисова, между нами говоря, совершенная дурнушка, однако, при вашем посредничестве, прекрасно устроилась. Она совсем нехороша собой, совсем, — как-то особенно твердо, подчеркивая последние слова, произнесла Недригайлова, пронизывая пристальным взглядом Балабанову, так что ту несколько даже неприятно передернуло.

— Однако, хороша и ты, барынька, — подумала она про себя.

— Денисова понравилась одному богатому человеку, бросила мужа и уехала с ним в Варшаву, насколько мне помнится; я там не при чем, — заявила Балабанова.

— Где ей, дурнушке, нравиться! — подхватила Недригайлова; — если бы не вы, добрейшая Татьяна Ивановна, ей бы никогда не выбраться в люди. При всей вашей доброте и снисходительности вы еще отличаетесь скромностью, что только, разумеется, делает вам честь.

— Не говорите, строгий моралист, пожалуй еще осудит меня. Мне искренне жаль всех молодых женщин, неудовлетворенных жизнью, семейным деспотизмом. Недовольство своей судьбой — самая тяжкая болезнь, которая когда-либо может постигнуть человека. В душу заползает червь; поминутно точит, снедает ее! Это ужасное, невыносимое ощущение; — естественно, человек ищет выхода из своего положения. Сама я также не нашла счастья в супружестве, разошлась с мужем; вот уже пятнадцать лет вдовой и ни разу не пожалела о том. Свобода лучше.

— Вы совершенно правы во всем, — горячо подтвердила Недригайлова. — Я 18 лет вышла замуж за человека совершенно противоположных взглядов и понятий. По правде сказать, меня мать спихнула с рук за первого попавшегося жениха. Я мечтала создать благополучие семейного очага, но суровое прикосновение жизненной прозы разбило в пух и прах мои мечты. Муж мой прекрасный человек, но он не понимает меня; у него слишком узкие требования; ему нужна жена хозяйка, нянька, а до моих душевных запросов дела нет. Сначала я беспрекословно повиновалась ему, приноравливалась, совершенно игнорируя и подавляя свою личность, молча шла в упряжке, как кляча, из года в год. Наконец, запас моего терпения иссяк. С какой стати я порабощена, должна подавлять свои желания?.. томиться, страдать, испытывать лишения? По службе он не получает никакого движения, все сидит на том же окладе, что и в первые наши брачные годы. Между тем на свет появились дети, недостатки усилились; с его стороны — упреки, будто я не умею вести хозяйства. Мне так все это надоело, опротивело, жизнь тянется скучная, однообразная — право, я думала даже отравиться.

Чем дальше говорила Недригайлова, тем тон ее слов становился задумчивее и горячее, что, впрочем, всегда бывает

с эгоистичными людьми, когда они дотрагиваются до предметов, близко касающихся их. Она волновалась, слезы вернулись на ее глаза, щеки покраснели, что стало заметно даже через густой слой пудры.

Сентиментально настроенную Балабанову горячность госты тронула.

— Разденьтесь, — сказала она, — и выкушайте чаю с тортом.

Недригайлова отнекивалась, но видя, что хозяйка состроила кислую мину, выпила чай и скушала кусочек торта.

От волнения, все еще продолжавшегося, кусок не шел ей в горло, щеки пылали, глаза горели, а слова так и рвались с ее уст.

Хозяйка сидела в задумчивой позе, что-то обдумывая и соображая.

— Итак, вы несчастливы в семейной жизни? — спросила она.

— Да, Татьяна Ивановна, я далека от рая с милым в шалаше. Меня снедает сильное желание бывать в театре, но не в рядах дешевых мест, — концертах, вечерах; я прекрасно танцую, — она опустила глазки. — Иметь туалеты, между тем я принуждена довольствоваться домашней обстановкой. Иначе я не понимаю смысла жизни, для чего жить, чтобы испытывать вечные лишения, мелкие уколы самолюбия... Мрачное мирозерцание, будто жизнь для нас тюрьма лишь и в смерти избавление — не удовлетворяет меня.

— Вы спрашиваете, в чем заключается цель жизни каждого человека? Конечно, в стремлении уменьшить страдания и увеличить сумму наслаждений. Самый инстинкт подсказывает нам, что ощущение радостей бытия несравненно приятнее страданий, — вымолвила Балабанова.

— Именно! — точно обрадовавшись, подхватила Недригайлова: — без сомнения, лучше испытывать все радости бытия, нежели страдать.

— Я скажу вам, — продолжала изрекать Балабанова, — ничто так не старит женщину, как нужда, горе, мелкие недочеты по хозяйству; никакие трагические происшеств-

вия, как бы потрясающе они ни были, не могут так изводить человека и разрушать его. А также дети, особенно если мать сама кормит.

— Да, да, — соглашалась Недригайлова.

— Вообще, осень женщины ужасна! Вы еще себе представить не можете этого чувства, а я уже пережила его. Испытывать горечь, глядя, что лицо твое начинает преждевременно увядать, щеки стягивают морщины и вместо румянца их покрывает желтизна, блеск глаз меркнет, и при всем том нечем помянуть молодость, сознание, что жизнь прожита даром, ты не насладишься ею... Не было любви... Лучше не вспоминать. Одним словом, мы с вами друг друга понимаем, чего бы вы хотели от меня? — спросила Балабанова: — говорите смело, без стеснения, как женщина женщине.

— Видите ли, такое неудовлетворительное положение, отсутствие средств, странный характер мужа вынуждают меня просить вас, не найдете ли вы возможным познакомиться меня с таким человеком, который мог бы быть моим другом, сочувствовать и вместе с тем помогать мне, предоставляя необходимое для более культурной жизни, — заикаясь, вымолвила Недригайлова и опустила глаза. — У вас, я слышала, обширный круг знакомств, я же нигде не бываю. Ну, словом, вам это удобнее сделать, нежели мне. Я хорошо знаю историю Денисовой, оттого-то и обратилась к вам.

— О Денисовой нечего говорить, то представился исключительный случай; взаимное влечение двух сердец, умопомрачительная любовь, — перебила Балабанова. — Кого бы, например, вы хотели иметь своим другом?

— Мне все равно, лишь бы он обладал состоянием.

— У меня есть в виду один господин, но, быть может, он не понравится вам. Купец, лет пятидесяти, имеет два больших магазина, дома, капиталец, семейный и также, как говорится, мятежный жаждет друга; я бы могла рекомендовать вас, — с этими словами Балабанова встала с места и прошла по комнате.

— Он очень безобразен? — спросила Недригайлова.

Сентиментальное настроение Татьяны Ивановны мало-помалу исчезало и сменялось раздражительностью.

— Чем безобразен? Разве вы девочка? Человек, как человек. Если угодно, познакомлю вас с ним. Он может выдавать вам на булавки рублей сто ежемесячно.

— Хорошо, познакомьте меня с вашим Тит Титычем, — произнесла, немного подумав, Недригайлова.

— Я переговорю с ним, тогда пришло к вам Алексеевну и вы пожалуйста ко мне вечером на чашку чаю. Можно будет вам прийти так, чтобы муж не знал?

— Я скажу, что к тете отправляюсь на вечер.

— Прекрасно. Таким образом состоится ваше знакомство. Нет ли у вас туалета поинтереснее этого? — Балабанова указала на ее черное платье.

Недригайлова покраснела.

— Нет, но я сделаю себе.

— Не нужно, это, быть может, очень скоро состоится; вы возьмите у Алексеевны креповую красную кофточку, ей недавно одна аристократка отдала продать, чудо что такое: на атласном чехле, декольте, рюш, кружево и на вашу фигуру вполне придется.

— Непременно возьму, — отвечала Недригайлова: — очень вас благодарю, Татьяна Ивановна.

— Не стоит, тогда поблагодарите, когда сумеете хорошенько накрыть Кит Китыча.

— Само собою разумеется, — отвечала Недригайлова, встала и поцеловала Балабанову в щеку. — Не могу скрыть, Татьяна Ивановна, приятного впечатления, которое получила от знакомства с вами. Теперь горизонт моей жизни несколько прояснился.

— О, да вы восторженная, — сказала Татьяна Ивановна и, слышав резкий звонок, а затем торопливое сбрасывание шинели и веселый напев из оперетки, поспешила сказать гостье до свиданья.

Выходя, Недригайлова встретилась на пороге столовой с молодым человеком восточного типа.

Наташа подала ей кофточку, шляпку и затворила двери.

Весело было на душе молодой женщины. Она чувствовала необыкновенный подъем сил. Возвращаться домой ей не хотелось и она предпочла погулять немного по Крещатику, где, останавливаясь перед витринами, рассматривала различные вещи. Вскоре она будет иметь возможность купить все, что пожелает. Вот эта прелестная модная шляпка с страусовыми перьями украсит ее голову. Также она делает себе кремовое атласное платье с красными азиями к поясу для театра. Матрена Ивановна и Евдокия Семеновна от зависти лопнут, увидя ее в таком наряде. Недригайлова замерла от восторга, созерцая бриллианты, заманчиво развешенные.

Почувствовав голод, она зашла в венскую кофейню, выпила одну чашку кофе, внимательно присматриваясь к соседям и слушая беззаботные разговоры кафешантанных птичек и, наконец, решила возвратиться домой. Семейный очаг казался ей скучным, неинтересным.

— Свобода лучше всего, — произнесла она и направилась вверх по улице, мимо того учреждения, где служил ее муж. Присутственные часы уже окончились и чиновники расходились по домам.

Недригайлова увидела сгорбленную фигуру мужа, его усталое, озабоченное лицо.

— Здравствуй, — сказала она, поравнявшись с ним: — не правда ли, приятный сюрприз, что после восьмилетнего супружества я вышла встретить тебя, как в первые годы, помнишь?

— А... как же ты детей оставила? Взяла бы и их с собой, — ответил Недригайлов.

Она вспыхнула.

— Вот прекрасно, нянька я, бонна, что стану их водить за собой. Мне со стороны смотреть смешно на проявление родительской нежности: идет мамаша, будто наседка с вереницей птенцов и сама любит на них.

— Наши дети совсем зачахли без воздуха, — возразил Недригайлов. — Притом ты оставляешь их с девкой: что они могут позаимствовать от нее?..

— А ты бы желал меня обратить в няньку, я и так прозябаю с тобою без света и проблеска счастья. Начну писать сестре Варе, чтобы она присылала мне на мои личные расходы, сделаю туалет и поеду на вечер в собрание.

— При умении хозяйничать можно и без Вариных подачек обойтись, а все это устроить из собственных средств; ты уже пробовала писать сестре и она тебе ничего не выслала. По-моему, не стоит унижаться, — сказал муж.

Недовольные и расстроенные супруги возвратились в свою квартиру, где их громким плачем встретили дети.

IV.

Молодой человек поцеловал руку Татьяны Ивановны и сел рядом с ней.

— Отчего ты, Витя, у меня так давно не был? — нежно произнесла Балабанова: — тем более, я тебе дала одно поручение.

— Некогда было, на разведки меня лучше не посылай: я все равно ничего не узнал. Вели подать коньяку.

— Принеси из буфета бутылку коньяку для Виктора Николаевича, — приказала Балабанова, позвав горничную.

— Все это время я играл в карты в клубах, на бильярде, — продолжал Виктор, наливая в рюмку коньяк. — Познакомился кое с кем, сегодня двух-трех игроков приведу к тебе. Один отставной морской капитан говорил: — я предвительно сделаю утренний визит, а то как же прямо вечером ехать — неловко; едва отговорил его. Чудак, говорю, бывают такие дома, куда во всякий час прилично ехать. — Что же там, игорный притон, что ли? — спрашивает. Обрати внимание на него, деньжищ уйма. Ты не слыхала — я купил рысака, дал задаток, но остальные 300 нечем уплатить. Дай мне, мамочка, эти деньги.

— Откуда же мне взять такие деньги?

— Очень просто: взять и вынуть из кармана, или чек написать в банк, — сказал Виктор.

— Ах, право, я на старости лет угла своего не буду иметь, — вздохнула Балабанова: — все собираюсь купить себе домишко и до сих пор не сделала этого.

— Если бы захотела, давно могла отхватить себе каменный домино, — отвечал Виктор,

— Приищи, голубчик, останусь благодарна тебе.

— Скажи Сапрыкину, он лучше меня это сделает. Дай деньги, побегу уплачу за рысака, а там его перепродам с барышом Валентинову.

— Нельзя ли отложить до вечера, не то у меня есть там какая-то мелочишка, и сотни не наберется, — отвечала Балабанова.

— Ну, до вечера так до вечера, — согласился Виктор и откланялся. — Смотри же, мне 400 р. до зарезу нужны.

Балабанова погрозила ему пальцем.

— Ты, кажется, шалить начинаешь... до меня дошли кой-какие слухи.

— Пустое, даже помыслом верен тебе! — отвечал тот и скрылся.

— Что это в последнее время он все деньги стал просить у меня? — подумала Балабанова.

Перед обедом она имела обыкновение немного гулять; одев ротонду, боа, серую соболью шапочку — она вышла на улицу.

Дорогой она обдумывала свидание с Затынайкой.

—Прежде всего, мне нужен приличный мотив явиться к ней; пока ведьмы не принесут известий, я ничего не могу придумать.

Что за неприступная твердыня!.. — Пришла же к ней Недригайлова — приличная семейная женщина. Что же та представляет из себя? Просто у людей не хватает умения взяться за дело. С каждой женщиной надо уметь поговорить, отыскать ее слабую струнку и наигрывать на ней. Сумела же она убедить Недригайлову — не отвергать Кит Китьча. Решительно, они не умеют действовать... А вот из ее рук не ускользнет барынька!.. И Балабанова самодовольно улыбнулась. Мороз слегка освежил и подрумянил ее щеки; в

рамке серого собольего меха она выглядывала интересной и симпатичной матроной.

Мимоходом она зашла в кондитерскую, купила коробку конфет в красивой папке и фунт засахаренных орехов, после чего взяла извозчика и приехала домой.

Терентьевна и Алексеевна, возвратившиеся с разведок, успели накрыть стол. Они приняли ротонду и сняли калоши барыни.

— Холодно сегодня. Дайте мне водки, — сказала Балабанова, усаживаясь за стол.

— Сейчас, — ответила Алексеевна и тень довольства пробежала по ее лицу; она прибавила в сторону Терентьевны: — я ведь говорила вам, чтобы вы достали водку из буфета; барыня явится с мороза и пожелает выкушать рюмочку-другую... А вы взяли слабого французского вина.

— Я подумала, что вы для себя хотите водки, — проворчала та.

Алексеевна пила каждый день для равновесия и приятного расположения духа, Терентьевна, наоборот, — запоем; крепилась месяца два-три и в эти периоды испытывала мрачное настроение.

К вящему удовольствию Алексеевны, увесистый графин очищенной очутился на столе. Она сама внесла его, любовно придерживая руками, зная, что рюмка-другая не минует и ее.

Балабанова залпом выпила рюмку, потом налила Алексеевне.

— Будьте здоровы, — сказала Алексеевна, с наслаждением высасывая жидкость.

— Вы отчего же, Терентьевна, не выпьете? — заметила Балабанова, разливая бульон по тарелкам.

— Будь она проклята, — отозвалась старуха, хотя в голосе ее не слышалось твердости: так иногда ругает мать балованное любимое детище.

— По-моему, лучше всегда немножко пить, нежели запойничать, — вставила Алексеевна.

— Что вы меня попрекаете запоем, — огрызнулась Терентьевна. — Я вот добросовестно исполняла барынины приказания, а вы зашли в монополию и просидели там два часа.

— Озябла и вошла погреться... сиделица знакомая...

— Полно спорить! Говорите, что узнали? — перебила Балабанова.

— Г-жа Затынайко не приняла нас, под самым носом хлопнула дверью и сказала, что не покупает старых вещей. Я не удовлетворилась этим, обошла все квартиры во дворе и забрала справки о ней. Барыня гордая, знакомства с жильцами не ведет, дети тоже: если выйдут на двор погулять в хорошую погоду — играют особняком. Живет неизвестно какими средствами: то родные помогают, почтальон приносит иногда письма и денежные повестки, то сама зарабатывает: рисует по фарфору портреты для надгробных памятников, — рапортовала Терентьевна.

— Наружность ее какова? — спрашивала Балабанова: — опишите подробно.

— Через запертые двери я не могла ее разглядеть.

— А как же вы утром говорили: глаза — плоски, не видать ни крошки?

— Раньше встречала ее в церкви или на улице, но не было особой нужды приглядываться, — вынырнула старуха.

— Вы что, Алексеевна, узнали?

— Меня тоже не приняла, хотя постучала я деликатно в дверь: а не так, как они, — Алексеевна указала на Терентьевну, — кулаком, со всего размаху, будто разбойник Стенька Разин ломится, али Пугачев. Барыня Затынайко вышла и спросила; что вам угодно? Не соблаговолите ли, сударыня, купить малопоношенных вещей? есть шелковая юбка фиолетового цвета, бурнус, накидка. Извините, говорит, ничего не могу купить. Извольте хоть взглянуть, сударыня, чудные вещи, возражаю я. Бесполезно смотреть, ответила барыня и ушла.

Я тогда помялась немного во дворе, никто ничего не купил. Народ все грубый, необразованный, ремесленный. Помоему—деликатной даме неприлично жить между ними.

Подали жаркое с фаршем и огурцами. Балабанова налила вина себе и приживалкам.

— Она рисует по фарфору? — сказала Татьяна Ивановна с залоснившимися щеками и блистающим взглядом, обдумывая что-то про себя: — это мне на руку. Так ли?

— Верно. Недавно сделала портрет булочнице Бухмиллер, у которой умер сын и получила 25 рублей.

— Разве это деньги, — с презрением отозвалась Балабанова. — Молоденькой хорошенькой женщине много нужно денег. Я, бывало, тот день считаю пропавшим, в который выручу 100, 300, 500, тысячу рублей!.. Вот как я привыкла.

— Ваши дела и теперь ничего обстоят, — вставила Алексеевна, откушавшая сладкого блюда.

— Пойду сосну немного, иначе вечером соберутся гости и я буду утомлена. Из вас кто-нибудь пусть дежурит. Только прошу меня ни в каком случае не будить, — сказала Балабанова.

— Как можно!? — отвечали старухи, крестясь на образ и поочередно прикладываясь к ручке благодетельницы.

Татьяна Ивановна поднялась со стула и поплыла в свою комнату, где возлегла на пышно взбитую постель для послеобеденного отдыха.

V.

Старухи уселись около камина, поставив там маленький ломберный столик, захватили остаток вина, сахар на блюдечке и налили себе по стакану чаю. Алексеевна достала из кармана колоду карт. Забыв вражду и соревнование, женщины занялись игрой в свои козыри.

Не успели они окончить второй партии, как раздался звонок. Алексеевна пошла отворить двери и увидела рослого дебелого юношу, с малиновыми щеками, карими навывкате глазами, миндалевидными и с поволокой, первым пухом на верхней губе, но в несколько поношенной гимназической шинели.

— Что вам угодно? — спросила Алексеевна.

— Г-жу Балабанову можно сейчас увидеть? — осведомлялся красавец-юноша.

— Они только что прилегли отдохнуть после обеда. Вам, собственно, для чего видеть?

Юноша смутился немного.

— По личному делу... — замялся он.

— Так утром пожалуйста — от 10 до 12.

— Это несколько неудобно, в виду того, что у нас в классах идут занятия. В воскресный день можно прийти?

— По воскресным и праздничным дням Татьяна Ивановна никого не принимает. Как можно? Она христианка: захочет в собор к обедне съездить, проповедь послушать. Разве можно беспокоить? — внушительно произнесла Алексеевна и строго посмотрела на юношу.

— А вечером?

— Ни за что не примут.

— Хорошо. Я найду возможность быть в установленные часы, — пробормотал юноша.

— Ваша фамилия? — спросила Алексеевна.

— Высекин, — ответил юноша, откланиваясь.

— Мальчик приходил, такой красавец, просто загляденье, — сказала Алексеевна, возвращаясь к подруге.

Фекла Терентьевна сидела с блаженным видом: пользуясь отсутствием партнерши, она повытаскивала из колоды все важные козыри к себе на руки.

Явился полотер со щеткой в руках и быстро навел глянец на паркете, посыпая его поташем. Горничная открыла и перечистила карточные столы, вставила в канделябры новые свечи, пустила электричество. Обстановка приняла праздничный вид.

Пожилые женщины продолжали с увлечением играть в карты. Напрасно горничная Наташа останавливала их.

— Будет вам, старые греховодницы: скоро соберутся гости. Бросайте карты.

Торопливый звонок прервал ее слова и она пошла открывать двери.

Явилась Агафья Гурьевна с Лидией Осиевской.

— На минутку урвалась: в лавке оставила кума, а сама к Татьяне Ивановне с барышней.

Лида одета была в простенькое черное платье, волосы гладко причесаны. Лицо выглядело печально и, судя по глазам, первая острота горя не покинула еще ее.

— Барыня проснулась и зовет, — сказала Алексеевна Наташе.

— Умыться мне и темно-синее шелковое платье, — приказала Балабанова, сидя на постели с сердитым измятым лицом: — а прежде всего дай выпить чего-нибудь прохладительного.

— Там Тихонова ожидает вас, — объявила Наташа, подавая барыне стакан зельтерской воды. Татьяна Ивановна выпила и торопливо начала одеваться. Прежде всего она умыла лицо из большого металлического таза, потом намазала его белой эмульсией и присыпала пудрой. Наташа причесала ей голову.

Из гардероба достали роскошное синее платье с кружевами. Балабанова облачилась в него и вышла в гостиную, шурша шлейфом.

Агафья Гурьевна, в своей кацавейке казавшаяся такой невзрачной перед величественной фигурой хозяйки, подобострастно откланялась.

— Уж очень хотела повидаться с вами, бросила торговлю даже; жалко смотреть, как Лидия Игнатьевна убивается... Завезла ее к вам: авось немного рассеется.

— Мне нужна молоденькая компаньонка: чувствуете ли вы себя способной исполнять ее обязанности? Предупреждаю, что я очень непритязательная особа, — с улыбкой сказала Балабанова, обращаясь к Лиде, окидывая ее взглядом, взвешивая сразу молодость и красоту девушки.

— Милосердная благодетельница! Другой подобной во всем свете не отыщешь, — хором возгласили приживалки.

Лида подняла на нее свои глаза и она показалась ей доброй, симпатичной, располагающей к себе.

— Я очень нуждаюсь в месте и постараюсь добросовестно относиться к возложенным на меня обязанностям, — произнесла Лида.

— Об условиях мы поговорим завтра; надеюсь, сойдемся, сейчас мне некогда: гости съедутся.

— Не будете обижены, — вставила Тихонова: — оставайтесь тут. Все ж получите развлечение, не то у меня вы чересчур грустили, прямо жалко смотреть. Оно, конечно, горе большое лишиться матери, да что делать-то...

— Божья воля, никто как Бог, а мы роптать не должны, грех, — отозвалась Балабанова, возводя очи горе и в эту минуту Лида опять нашла ее симпатичной.

— Не грустите, я буду вашей матерью, — Балабанова обняла хрупкий стан девушки и повлекла в свой будуар.

— Присядьте здесь, выкушайте чашку шеколаду — я сейчас велю подать. Может быть, чего-нибудь горяченького? Ну рюмку вина, я настаиваю на этом, непременно рюмку, это подкрепит вас. У меня тут есть один сорт, я от бессонницы по совету доктора употребляю.

Она почти насильно заставила Лиду выпить две рюмки.

— Теперь прикажу подать вам сюда покушать. Впрочем, если хотите, можете идти в столовую: там у меня сервирован стол. Но вы подавлены и расстроены... Можете позднее выйти... Только ваш скромный туалет следует подновить немного. Не беспокойтесь, траура я не нарушу, дам вам лишь прекрасную черную, муаровую ленту на пояс и белый кружевной воротничок à la Marie Stuarте, потом Наташа немного завьет ваши волосы.

С этими словами Балабанова вышла, шурша тяжелым шелковым шлейфом.

Алексеевна накрыла маленький стол, внесла чашку бульона с пирожками, кусочек жаркого.

Наташа разогрела щипцы, завилла на лбу и около щек волосы, уложила их в модную прическу и подколола с разных сторон блестящими гребнями. Потом обвила вокруг стана девушки муаровую ленту, завязав пышным бантом на боку. Кружевной воротник также украсил шею молодой девушки.

— Совсем иной вид: вы та же, да не та. Что значит костюм? — говорила Алексеевна. — Барыня и мне велела переодеться.

— Пожалуйте в гостиную, сказала Терентьева: — барыня вас просит.

Лидия вышла.

— Дитя мое, присядьте тут, поговорим немного, пока никого нет. Посмотрите на наше общество, я вас ни с кем не буду знакомить. Вот здесь в уголку между цветами укромное местечко, садитесь сюда. Сейчас явятся мои племянницы Надя и Варя и племянник Виктор Николаевич Головков. Губернские девушки совсем не то, что в провинции: держат себя гораздо свободнее.

Лидия уселась в указанное место и своей миловидной фигуркой составила недурную декорацию, что сейчас заметила Балабанова.

Гости мало-помалу начали съезжаться. Первой в гостиную впорхнула красивая, но уже поношенная брюнетка, лет 35, с расплывшимися чертами лица, подведенными глазами и сильно отремонтированной физиономией. В общем она напоминала дорогое, поношенное платье, которое отдают старьевщикам.

— Добрый вечер, Темира, — сказала она, здороваясь с хозяйкой и кидая быстрый взгляд по сторонам. — У тебя еще никого нет? Кстати, мне нужно сказать тебе несколько слов.

— Идем в будуар: у тебя прическа совсем упала, — ответила Балабанова.

Дамы удалились.

Брюнетка подошла к трюмо и оглядела себя внимательно.

— Как твои дела? — спросила Балабанова, усаживаясь на кушетке.

— Плохо, Таня, совсем плохо! — отвечала та, отворачиваясь от зеркала. — «Он» уехал в Петербург, не высылает денег и, видимо, хочет порвать всякие отношения. Вчера я познакомилась с кавказским купцом, по фамилии Казильбаш, и назначила ему свидание в твоей гостиной. Ты, конечно, не в претензии; он немного играет в карты, только пусть твой Виктор особенно не обыгрывает его. Мои об-

стоятельства очень плохи: кругом задолжала. Кто у тебя будет?

— Инженер Валентинов, Ферапонт Григорьевич, затем Витя обещал кой-кого привести — исключительно для карточной игры. Отчего бы тебе не заняться Ферапонтом Григорьевичем или Валентиновым?

— С Ферапонтом я встречалась как-то и ездила кататься: у него чудная тройка. На другой день посылаю к нему служанку, прошу занять мне 25 рублей, он ни копейки. Подобное свинство взорвало меня и я написала вторично ему письмо такого содержания: «Если сейчас не пришлете денег, отправляюсь к вашей жене и все расскажу ей». Письмо понесли в думу и тогда уже он переслал мне 25 р. После этого мне неудобно даже встречаться с ним. Валентинова я терпеть не могу; он очень дерзок на язык.

— Сегодня, душенька, держись несколько поскромнее, прошу тебя, пока в гостиной будет сидеть невинность; не то может испугаться и убежать: она провинциалочка, немного дика и застенчива, — сказала Балабанова.

Дамы вышли в зал, где встретились с двумя девушками: блондинкой и рыженькой. Обе были среднего роста, наклонны к полноте, в светленьких блузках. Первую звали Надей, а вторую — Варей.

— Тетечка дорогая, — приветствовала Надя Балабанову, прикасаясь к ее напудренной щеке своими розовыми губками.

— Сегодня, если хотите быть моими племянницами, держите себя поскромнее.

— Тетечка взяла себе новую племянницу; мы сейчас же ее на дуэль вызовем, — подпрыгнула рыженькая Надя и ударила себя по бедрам, плотно обхваченным модной юбкой.

— Фи, Надя, какие у тебя вульгарные манеры, точно субретка. Тебе бы поступить в кафешантан. Вот весной я отправлю тебя, — проговорила Балабанова, величественно шествуя по зале.

— А что ж, тетечка, я ничего не имею против этого.

Варя держалась несколько скромнее, помалчивала больше, только порой лукаво вскидывала глазками и эта скромность баядерки к ней очень шла. Она прошла в столовую, присела к столу, закусила немного и перекинулась несколькими словами с Алексеевной. К ней вскоре присоединились Надя и Анюта.

— Вот всегда так: придут голодные и накинутся на закуски, будто у барыни перекусочная, — ворчала Терентьевна, перетирая у буфета рюмки. — Какая польза от них.

Девицы больше любили Алексеевну, часто дарили ей старые платья, отчего та в сборных костюмах иной раз напоминала арлекина. Другую старуху они ненавидели и называли ведьмой.

В гостиной между тем появились новые лица: инженер Валентинов и купец Сысоенко.

Первый — высокий, стройный, с роскошной черной, раскинувшейся по груди, бородой, выхоленным, блестящим, подобно слоновой кости, матовым лицом, карими глазами, — одним словом, красавец во вкусе Ринальдо Ринальдини. На его рослой, атлетической фигуре ловко сидело штатское платье. Ему было не более тридцати пяти лет. Жажда жизни, наслаждения переполняли все его существо, трепетали, били ключом в каждом мускуле лица и вообще во всей фигуре сказывалось столько силы, мощи чисто русской, богатырской.

Сысоенко ростом был ниже Валентинова, но толще, не так строен и ловок, а скорее мешковат, широкоплечий, с выдающимся брюшком. Лицо его сохраняло меднокрасный оттенок. Узкие глаза прорезывались между низким лбом и одутловатыми щеками, черная с проседью борода обрамляла их. Одежда сидела менее ловко, нежели на статной фигуре Валентинова, зато в пестром галстуке торчала бриллиантовая булавка, в манишке золотые запонки и на пальцах перстни с дорогими камнями. По жилету спускалась толстая золотая цепочка от часов. В одной руке он придерживал соболью шапку, в другой — коробку конфет.

Валентинов всегда отличался свободной остроумной речью, несколько презрительной, точно он ни во что не ставил того, с кем ему приходилось разговаривать.

Сысоенко, напротив, говорил мало и нескладно, с трудом произнося слова, дополняя свою речь выразительной мимикой лица и жестикуляцией рук, но, несмотря на это, он состоял гласным думы, говорил речи и т. п.

Два раза Сысоенко ездил за границу с переводчиком, бывшим гувернером графа Панина. Повеса после ядовито смеялся, рассказывая, что во время путешествия Сысоенко молчал, иностранцы дивились и думали, будто бывший гувернер привез его на показ.

В характере Ферапонта Григорьевича совмещались все крайности широкой славянской натуры: иногда он проявлял удивительное скопидомство и деспотизм в доме, порой же любил развернуться во всю мощь и преизрядно кутнуть, секретно от жены и тещи.

— Здравствуй, Татьяна! — сказал Валентинов Балабановой.

— Bon soire, cousin, — отозвалась та, следуя в зал.

— Вот тебе раз! Когда же мы с тобой породнились? На Вальпургии я еще не был, — возразил тот. — Где твой Витька? Дело, кажется, кончится тем, что я его высеку.

— А что?

— Как же! обыграл меня, мошенник, с заведомыми шулерами, передернули карты. Вот он был свидетелем.

И Валентинов указал на Сысоенку.

— Действительно... того... — подтвердил Ферапонт Григорьевич и, подняв вверх пальцы, отличавшиеся удивительной эквилибристикой, пощелкал ими в воздухе.

— Ничего не понимаю, — отозвалась Татьяна Ивановна, соорудив наивное лицо и пожимая плечами.

— Туза... того... надул, — сказал Ферапонт Григорыч.

— Что такое?

— Обдул... четыреста целковеньких.

И Сысоенко ударил себя по карману.

— Полно строить наивные глазки: сама знаешь, что твой Витька нечисто играет и водится с компанией шулеров.

Только прошу меня в другой раз избавить от столкновения с ними, иначе моя нога не будет в твоём доме. А Витьку уж высеку, как гоголевскую унтер-офицершу. Водка есть? — закончил Валентинов и прошёл в буфетную,

Сысоенко вручил хозяйке коробку конфет, вымолвив лаконически:

— Презент!

— Мерси, — небрежно обронила Балабанова. — Не угодно ли закусить чего-нибудь? — указала она ему на буфет, а сама подошла к Лидии.

— Валентин Петровича, честное слово, я не при чем. Меня самого обманули. Ни сном, ни духом не виноват, — распинался у буфета Виктор Головков, ударяя себя кулаком в тщедушную грудь, прикрытую цветным жабо. — Меня Павлов подвел и никуда не годного рысака навязал...

— Если эта компания появится ещё когда-либо — за окно выброшу.

— Я помогу вам первый.

Анюта, Варя и Надя также сидели за столом.

— Что, с новым годом научилась по-новому обдирать людей? — обратился Валентинов к первой.

— Когда вы станете с уважением относиться к женщине, — ответила Анюта.

Валентинов налил в рюмку вина и поставил перед Варей.

— Я не пью, — оттолкнула девушка.

Что ты, Варя, ром не пьешь,
Аль любить меня не хошь,
Чем я мальчик не хорош,

— запел Валентинов фальцетом.

Варя незаметно переглянулась с Виктором Головковым и встала из-за стола.

Расставили столы; появился кавказский купец Кизильбаш, ещё два-три господина и вся компания засела за карты.

Девушки удалились в будуар хозяйки, служащий также дамской уборной. Они скучали без мужского общества.

VI.

Лидия, окруженная зеленью, сидела в гостиной, куда по приказанию Балабановой ей подали чай. Молодая девушка выпила одну чашку и хотела удалиться в отдельную комнату и только выжидала удобного случая сказать об этом хозяйке. «Зачем я здесь сижу?» — думала она.

Балабанова, постояв около игроков, прошла в зал, где расхаживал Сысоенко, внимательно приглядывавшийся к сидящей как раз против дверей Лидии.

— Отчего вы не играете в карты? — сказала Балабанова, присаживаясь на стул и думая повести разговор относительно Недригайловой. — Состав дам у меня сегодня неинтересный.

— А вон краля?... — спросил он, подмигивая бровями в сторону Лидии.

— Моя дальняя родственница, — ответила хозяйка.

— У тебя все того... родственницы.

— А вам что, нравится?

— Я ведь, кажется, просил вас насчет того... знакомства. Оно бы подходящее... с кралечкой...

— И что вы, Ферапонт Григорыч! Надо сообразоваться с обстоятельствами: способны ли вы заинтересовать собой порядочную молоденькую девушку? За ней надо поухаживать, суметь в ней чувство разбудить, а вы, при вашем затруднительном словопроизношении, хорошо говорить не можете. Кстати, я давно собиралась спросить у вас, отчего вы имеете этот недостаток?...

— Испуган в детстве был... Цыган того... курень поджег... и я... того... испугался... Тятенька ранее арендовали землю, сады также снимали у графа Потоцкого, разную фруктовую продавали. Раз тятенька поймал цыганскую лошадь в поле и загнал, а цыган того... из мести и зажег курень,

где мы проживали летом... Я испугался и с тех пор стал заикаться в речи... В Одессу возили лечить и того... не помогло.

— Как же вы в думе произносите целые речи?

— Оно... того... можно, по вдохновению... гражданский долг... — произнес Сысоенко, — Татьяна Ивановна! Ну как же насчет того?... — сказал он немного спустя.

— Что? — не поняла его Балабанова.

— Знакомства с барышней, — и он указал на Лидию.

— Станный человек! Я же вам говорю, что вы не можете ей нравиться. Хорошо, я представляю вас, но только ничего из этого не может выйти.

— А ежели того... мощной тряхнуть?.. За деньги отца родного купишь.

Ферапонт Григорьевич взялся руками за свои огромные уши, напоминающие Мидасовы, потрепал их и вымолвил:

— Бриллиантовые подвески... тебе... Хошь?

— Положительно невозможно! — с негодованием произнесла Балабанова, шумно вставая с места и, казалось, даже самое платье ее зашуршало негодующе.

Они прошли в гостиную к Лиде.

— Вы утомлены, дитя мое?

— Да, я хотела просить вас, нельзя ли мне удалиться в более уединенную комнату, — сказала та, вставая.

— Идем!

Балабанова обняла ее за талию и повела в свою спальню, как раз мимо сидящего у дверей Ферапонта Григорьевича с налившимися кровью глазами и побагровевшим лицом.

Легкое шерстяное платье Лидии коснулось даже его колен.

— Если хотите, я познакомлю вас с одной очень интересной дамой, женой чиновника, которой вы можете понравиться. А девушки, знаете, непостоянны, легкомысленны, что ввиду вашего семейного положения неудобно, — говорила Балабанова, возвратившись к покинутому собеседнику.

— Оно... того... хороши и дамы ваши. Вон Анна Васильевна мне письмо в думу прислала с угрозами: жене расскажу...

— Анята нервная, капризная и тоже неподходящая партия для вас. Она свободна как ветер; та же чиновница совсем другое дело; семейное положение ее сходно с вашим, но, одним словом, она дорожит своей репутацией. С собой очень недурна.

В дверях показался Сапрыкин.

Балабанова несколько удивилась: вечерние визиты фактора предвещали всегда что-либо экстренное.

Сысоенко отправился к игрокам, а Татьяна Ивановна с Сапрыкным вошла в гостиную, где никого не было.

— Пришел сообщить вам о результате свидания с американцем. Предлагает пятьсот долларов за двух деток в возрасте от 3 до 7 лет, мальчика и девочку, красивых, хорошо сложенных, интеллигентных родителей. Мальчик предназначается в эквилибристы цирка, а девочка для татуировки. Представить в течение трех дней, — конфиденциально вымолвил Сапрыкин.

— Неужели это трудно?.. Столько несчастных детей и девать их некуда. Каждый день в газетах пишут о подкидышах. Наконец, просто взять и увести с улицы от няни.

— Если бы летом, то можно приглядеть в скверах и любых выбрать. Няни не очень внимательно смотрят, тем более подослать кавалера к ней, отвлечь внимание, но зимой трудно: по домам не пойдешь, а на улицах встречаются одни оборвыши. Заработка же упускать не следует.

— Я отыщу в течение этих дней, посету родильный приют. У меня есть знакомая акушерка. Она держит несколько воспитанников и воспитанниц, интеллигентных конечно.

— Вы, Татьяна Ивановна, гений. Я всегда это сознавал...

Балабанову отозвали зачем-то и она скрылась.

В одной из отдаленных комнат, так называемом кабинете Виктора, рыдала Лида. С девушкой сделалась истерика. Алексеевна сняла с нее лиф и примачивала виски одеколоном.

— Чем же я могу помочь? — пожала плечами Балабанова. — Я не доктор. Пусть девчонка передурит. Нечего особенно с ней церемониться: не нравится ей у меня — пусть идет работать в дом трудолюбия или в прорубь. Я ведь не держу насильно. — Поди ты, Варя, поговори с ней, обратилась она к блондинке, стоявшей около стула Виктора и внимательно следившей за игрой.

Варе сделалось жаль плачущую Лидию; она отослала Алексеевну, а сама присела на постель возле девушки и нежно заговорила.

— Что с вами, дорогая? Я слышала — у вас было горе: мама умерла? Что ж делать! На свете все горе, и сквозь смех горе бывает. Иногда смеешься, а слезы просятся на глаза. Приходите ко мне. Я вам все расскажу, всю свою жизнь, объясню вам многое, чего, быть может, вы и не понимаете. Я квартирую в гостинице «Австрия». Мы поговорим по душе. Я тоже осталась сиротой, ничего не понимала тогда.

И Варя вздохнула тяжело.

Мало-помалу, убаюкиваемая ее речами, Лидия заснула. На рубеже сна она думала:

М-те Балабанова хорошая женщина, Варя тоже добрая, одна я неблагодарная, много хлопот им доставила. Что ж с того: здесь шумно, весело, бывают гости, живут люди, радуются, веселятся. Это я отвыкла от людского общества, оттого- то так странно показалось мне тут. Нельзя же быть эгоисткой...

...Но кто та... она, что приходила ко мне и советовала читать послания апостола Павла?... На этом мысль ее замерла, но и во сне она продолжала глухо копошиться и тревожно работать. Потом она увидела строгое, печальное лицо матери.

Кавказец продулся в пух и прах. Напрасно Анюта стояла возле него и подавала руку на счастье, — ничего не помогло. Он встал из-за стола недовольным, озабоченным.

Вечер Балабановой завершился ужином, после которого Валентинов, Сысоенко, Кизильбаш и прочая компания решили покататься на тройках. Анюта и Надя приняли учас-

тие в поездке, а Варя, накинув короткую меховую кофточку, медленно шла по улице. Она поминутно останавливалась и оглядывалась назад, пока Виктор Головков не нагнал ее. Подав друг другу руки, молодые люди ускорили шаг.

VII.

Утро выглядело морозным. Прихотливые узоры раскинулись по стеклам окон.

Алексеевна затопила камин и двигалась неторопливыми шагами, чтобы не разбудить хозяйку.

Балабанова проснулась ровно в девять часов и с озабоченным лицом вскочила с постели.

— Умыться мне поскорее, кофе и Наташу сюда, — командовала она.

Горничная убрала голову барыни, что всегда составляло самую трудную часть туалета, в связи с ремонтом физиономии.

Окончив туалет, она выпила две чашки кофе, облачилась в дорожную ротонду и, захватив в руки ридикюль, куда вложила какую-то фотографию, тщательно обернутую бумагой, вышла на улицу, взяла извозчика и назвала адрес, куда себя везти.

Возница быстро помчался и через несколько минут остановился на одной из средних улиц, у подъезда белого двухэтажного дома, на котором красовалась вывеска: «Родильный приют повивальной бабки с отличием Ироиды Семеновны Тризны».

По тротуару прохаживалась нянька, девочка, с пятью мячиками в возрасте от двух до пяти лет.

— Воспитанники Ироиды Семеновны? — спросила Балабанова, окидывая их взглядом.

— А уже ж, — ответила нянька и прикрикнула на пятилетнего мальчугана: — куда ты, проклятый, под конку лезешь! — причем ударила его по голове.

Балабанова поднялась по лестнице во второй этаж и позвонила.

Акушерка сама отворила ей двери. Ироиде было лет сорок, среднего роста, бледная, с растянувшимися по лицу синими жилами и веснушками, крысиным хвостиком волос, торчавших назад. Лицо нервное, раздражительное, белые бескровные губы, из-за которых торчали плохие, выкрошившиеся от чрезмерного употребления сладкого, зубы.

— Сколько лет, сколько зим! Вот неожиданный сюрприз! — воскликнула она, завидя Балабанову. Перед могучей, дородной фигурой Татьяны Ивановны Иродиада Тризна казалась маленькой собачкой.

— Будем шеколад пить, мне сейчас готовят. Изморилась за сегодняшнюю ночь: одна барышня приехала из Харькова и пока-то Бог ей дал — у меня семь потов сошло. Самая несчастная в мире женщина — это я. Мне приходится расплачиваться и страдать за грехи человечества.

Иродиада пододвинула к себе коробку с табаком, быстро скрутила папироску и закурила ее; курила она много и торопливо, все будто спеша куда-то.

— Я к вам по делу, — заявила Балабанова.

— Вы всегда, дорогая, по делу, а чтобы просто зайти, побеседовать с бедной Ирочкой — этого нет.

— Вы тоже заняты.

— Не всегда же, иной раз от скуки некуда деваться, одурь берет; раз даже задушиться хотела.

Правая щека ее перекосилась, а мутно-зеленоватые глаза блеснули почти безумием. Она скрутила другую папиросу, поднесла к губам и затянулась.

Опрятно одетая служанка внесла шеколад, приготовленный на сливках, яйца всмятку, печенье и поставила на стол.

— Что ж бы это было, если бы я не поддерживала себя сытной пищей? Извелась бы в ниточку. Вам можно чашечку? Шеколад чудный. Ни в чем себе не отказываю, а счастья нет. Отчего это, Татьяна Ивановна? Мне кажется, всему виной развращенное человечество, которое является под мой кров расплачиваться за свои грехи, оно разбило

мне нервы и отравило существование. И еще осмеливаются обвинять акушеров, фабрикующих так называемых ангелов. Родится на свет случайное существо, невольно является вопрос: зачем оно и для чего? Ни отцу, ни матери нет дела до него, — стараются скорее забыть о неприятном появлении его на свет и прикидывают нам. Что с ним делать? Счастье, если дитя умрет.

Эти слова Иродиада произнесла с глубоким убеждением.

— Моя дальняя родственница желает взять на воспитание двух детей: мальчика и девочку, так, конечно, чтобы со стороны родителей не последовало претензий. Понимаете?

— Да. Двести рублей сюда.

Ироида постучала костлявыми пальцами о стол.

— Какова история их, кто родители?

— Родители умерли, отказались — для вас это все равно, а для меня дети давно составляют обузу.

— Почему же вы так дорого хотите взять за них?

— А что ж, я даром их харчила? Если б вы знали, сколько они мне стоили, иначе я бы их презентовала вам. Разве для вас это дорого, Татьяна Ивановна? — Ироида скорчила скорбную, жалкую физиономию.

— Не для меня; родственница, конечно, уплатит вам требуемую сумму. Можно видеть детей?

Ироида позвонила в маленький колокольчик и велела явившейся служанке позвать со двора Клавдию с детьми.

Появилась та самая девочка, которую Балабанова встретила на улице с пятью детишками, смотревшими исподлобья испуганными зверьками.

— Женя и Лиза, — указала Ироида на четырехлетнего мальчика и девочку годом моложе, очень маленьких, грациозных малюток, одетых в синие шубки,

Балабанова полезла в свой ридикюль, достала несколько конфет, оделила ими всех детей, а Женю и Лизу приласкала немного.

— Несчастные! — вздохнула она сокрушительно,

— Веди их в кухню. Пусть Христина даст им кипяченого молока с водой. А ту сулею, что сегодня доставили из мо-

лочной, не трогать, пока я не сниму себе сливок. Человечество, марш! — скомандовала она.

— Барышня просят вас, — сказала появившаяся служанка: — говорят — дурно им.

— А, чтобы ее черт взял, — с перекосившимся от злобы лицом прошептала Ироида, торопливо скручивая на ходу папиросу.

— До свидания, — сказала Балабанова. — За детьми я сегодня же припшлю, или сама заеду. Имеете вы их метрики, а также свидетельство о смерти родителей?

— Только матери, а отца у них нет и не было, — произнесла Ироида и оскалила свои желтые зубы.

Балабанова вышла на улицу.

— Теперь надо направиться к Затынайке. Извозчик, — позвала она.

Какой-то бородач, встряхивая вожжами, подкатил и услужливо отвернул меховую полость у саней.

— Куда прикажете? — почтительно осведомился он.

Балабанова вынула из ридикюля кусочек бумажки и прочитала адрес.

— Слушаю-с, — ответил тот и помчался по указанному направлению.

Давно он не вживал такой пышно разодетой и важной барыни, которая не позволит себе торговаться из-за двухгривенного, а, напротив того, сама еще прибавит, зная, что бедному человеку надо заработать.

Улица тянулась ровная, гладкая. Проезжая мимо винной лавки, возница с вожделением взглянул на нее и как-то особенно молодцевато тряхнул вожжами.

— Барыня именитая, только на Крещатике али в Липках таких встретишь, а в нашем околотке за редкость, — соображал он.

— А что, сударыня, будто я вас не за приметил в наших краях. Вот уже восьмой год занимаюсь извозом и все по большей части на этом месте околачиваюсь, потому оно пункт. Кватера также близко, — на Митревской улице, — осмелился возница, очевидно, сгорая любопытством. Он был из орловцев, отличающихся, как известно, болтли-

востью, любопытством, тесно связанными с добродушием и другими добропорядочными качествами славянина.

— Я здесь, голубчик, проездом по делам благотворительности, — отвечала Балабанова.

— Вот оно что! — подумал извозчик: — уж не сама ли?...

— И он проникался все большим и большим уважением к пышно разодетой даме, восседающей на его санях, и больно стегнул кнуток серую в яблоках лошаденку.

Догадки его вполне подтвердились, когда барыня, напрасно поискав мелочи, подала ему рубль за путь, который такса ценила в четвертак.

Около дома, где остановилась Балабанова, ютилась маленькая, плохонькая лавчонка; у ворот, открытых настежь, скользили ребятишки на коньках и салазках. Подобрав ротонду, Балабанова вошла в лавочку; чистенькая старушка стояла за прилавком.

— Вы не знаете, живет ли здесь г-жа Затынайко? — спросила она.

— Во дворе квартира, во флигеле.

— Можно ее сейчас застать дома? — продолжала спрашивать Балабанова.

— Вероятно. Недавно девочка приходила покупать французские булки.

— Большой забор делают в вашей лавке? — осведомилась дама.

Лавочница махнула рукой.

— Какое там! Никакой пользы нет от покупателей подобного рода: один день возьмут что-нибудь, а потом неделю не заглянут в лавку. Бедные, но гордые; в долг никогда ничего не попросят. Я всегда выручаю людей. Вот сапожник тут живет во дворе. Рублей на десять в месяц наберет. Получит за работу — отдаст. Также офицерша...

Балабанова медлила уходить: отзывы о Затынайке интересовали ее.

— Можно у вас покурить? — спросила она и купила папирос.

В лавке не оказалось сдачи с золотой монеты и, пока лавочница посылала своего племянника разменять, Балабанова сидела на стуле и слушала ее рассказы.

— Насилушку разменял у кондуктора на конке, — говорил глуповатый малый, в прорванной серой барашковой шапке с торчащим оттуда клоком ваты, высыпая на прилавок целую грудку серебряных денег. Балабанова вложила их в ридикюль и вышла из лавки.

Во дворе стоял флигель. Она завернула к его левой стороне, взобралась на маленькое крыльцо, окруженное деревцами белой акации в зимнем уборе, и постучала. Звонкок отсутствовал, как вообще во всех маленьких квартирах.

Дверь отворила молодая женщина с наброшенным на голову и плечи платком. Балабановой прежде всего бросились большие темно-серые глаза с зеленоватым отливом на строгом очерке лица.

— Здесь живет Милица Николаевна? — спросила Балабанова любезным тоном.

— Да, — ответила молодая женщина и проводила ее в комнату.

В передней Татьяна Ивановна сбросила с себя калоши, но ротонды не сняла.

Милица Николаевна попросила гостью сесть. На ней было черное платье и серый фартук охватывал тонкий, гибкий стан. В ее наружности ничего выдающегося не заключалось: большие глаза, белый лоб, прямой нос, благородный разрез губ, сохранивших мягкость очертаний; профиль был несколько сух. Волосы зачесаны вверх и уложены под длинный, в виде обруча, гребешок. Лицо дышало чистотой, вдохновением, точно внутри молодой женщины теплился огонь, который освещал и согревал ее, окружая как бы ореолом.

Балабанова при взгляде на нее подумала:

— Совсем, совсем нехороша. Подлинно сошел с ума Крамалей: по ком его душа уж так смертельно заболела. По моему, куда Анюта лучше и пикантней, а про Лиду и говорить нечего.



— Здесь живет Милица Николаевна? — спросила Балабанова
любезным тоном.

Но вглядываясь все более и более в Милицу, Балабанова призадумалась. Первое женское любопытство ее было удовлетворено. Где-то она видала нечто подобное и вспомнила, что как-то давно, в одном из передвижных музеев, она видела христианскую мученицу. У той также лицо блистало вдохновением, торжеством и тишиной, а кругом стояли рычащие львы и сам деспот Нерон любовался из своей логи. Злорадное чувство переполнило душу женщины.

— Прошли те времена, когда вас львами травили, чтобы от веры отреклись и вы проливали свою кровь, но не сдавались. Теперь не то; за бриллиантовые подвески не что только женщина не решится, лишь были бы соблюдены некоторые приличия, а там в тайне теней все скроется и в глубине ее души не шевельнется даже раскаяние, Но что раскаяние! То лишь слова одни пустые или предрассудки слабых душ!

Она обвела всю комнату глазами. Мебели находилось немного, лишь самое необходимое; стол, несколько стульев, этажерка с книгами. На стене висело изображение Спасителя в терновом венце, копия с картины Гвидо Рени, с надписью внизу: «Ессе Ното», нарисованное по полотну масляными красками рукой Милицы. Под ним портрет какого-то архимандрита в клобуке и с панагией. На груди все ордена. Видно, что человек заслуженный. Длинная седая борода ниспускалась на грудь и чуть прикрывала их собой. Фотография довольно большая в темной рамке за стеклом, и тот, кто снят на ней, взирал любовно и кротко, словно был доволен, что попал сюда.

Два окна выходили на юг. Под одним из них стоял мольберт с начатой картиной. Возле него простой табурет.

В следующей комнате слышалась детская возня.

— Нищета! — с презрением подумала Балабанова. — Все сама делает, вероятно, все заботы след являет; но лицо ее не отражало тайных дум, а, напротив того, имело самое любезное выражение сердечной расположенности.

Милица Николаевна не спрашивала, что угодно госте, ожидая, пока та сама объяснит причину своего посещения.

— Я слышала, что вы рисуете портреты для надгробных памятников, — начала Балабанова,

— Да, рисую...

— У меня к вам просьба: недавно я понесла тяжелую утрату: у меня умер сын, — произнесла Татьяна Ивановна, причем глаза ее наполнились слезами и раскрасневшееся лицо задрожало от судороги сдерживаемых рыданий. Она открыла ридикюль, достала носовой платок и поднесла его к глазам.

— Он был юноша лет двадцати двух, редких качеств ума и сердца, только что окончил один из заграничных университетов, но злой недуг — чахотка подорвал его силы и унес преждевременно в могилу, — трагическим тоном, сквозь сдерживаемые рыдания говорила она. — Он умер за границей и меня уведомили уже спустя два месяца. Прах его я перевезла сюда и похоронила на Аскольдовой могиле. — Ох, как тяжело! Она схватилась за сердце. — С тех пор душа моя напрасно ищет покоя, тем более, что я виню сама себя в его смерти... Но что об этом говорить! Я поставила ему прекрасный надгробный памятник из белого мрамора и хочу вделать в него портрет моего Ади. Для этой цели я уже заказывала одному молодому человеку, занимающемуся живописью, перевести с фотографии сына на фарфор и мне не понравилось то, что он сделал. Он придал чертам Ади совсем другое выражение, нежели имел тот; улыбка вышла слишком натянутой; покойный не мог так улыбаться.

У m-me Бухмиллер случайно я увидела вашу работу и она мне чрезвычайно понравилась. Тогда я решила просить вас сделать снимок с фотографии моего сына. Как женщина с душой, надеюсь, вы вникнете и поймете характер дорогих и незабвенных мне черт.

Она достала из ридикюля фотографию, поцеловала ее, причем две слезинки вытекли из ее глаз и она тотчас отерла их.

Милица молча взяла в свои руки фотографию с чувством некоторой боязни и опасения. Так иногда добрая и сострадательная сестра милосердия приступает к перевязке

ран больного, сама ему сочувствуя. Это чувство уважения к усопшему, а не одной стереотипной деловитости не ускользнуло от наблюдательного взора Татьяны Ивановны.

— Прекрасные черты лица, — произнесла Милица.

— И вы находите! — точно обрадовалась мать. — И вдруг потерять такого сына! Простите, что я все говорю о нем. Что будет стоять портрет — не говорите, потому что я ничего не пожалею; теперь я пользуюсь благосостоянием, но когда я носила его на своих руках и кормила грудью, у меня ничего не было, кроме любви к своему малютке. Оно возросло среди лишений и каких еще лишений! Часто Адя голодал по целым дням, а я готова была, как пеликан, растерзать свою грудь и напитать его своею кровью!..

Она вдруг разрыдалась и скрыла лицо под белым батистовым платком, надушенным гелиотропом.

— Пожалуйста, успокойтесь, выпейте немного воды, — сказала Милица и поставила на стол графин с водой.

Люди, которые много сами страдали, умеют молча понимать страдания других, потому, быть может, Милица не навязывалась ей своим участием, зная, что при сильных, острых горестях оно совершенно бесполезно и боли сердца не уймёт, а только хуже еще растравит.

Она налила в стакан воды и поставила перед взволнованной гостьей. Балабанова отпила несколько глотков и, казалось, порыв ее внезапного волнения утих несколько.

— Благодарю вас, — сказала она.

— Я сделаю снимок, только когда вам угодно его иметь?

— Нельзя ли поскорей? Я часто посещаю кладбище, стою у памятника; мне желательно видеть там дорогие черты сына и размышлять о роковых ошибках своей жизни. Если бы я несколько иначе поступила в одном случае, то не умер бы мой Адя... Это я причина твоей смерти! Каким ужасным ядом сознание своей вины отравляет мою совесть! — трагически произнесла она, глядя на фотографию.

— Позвольте, я не имею, быть может, права спрашивать: чем же вы виноваты в его смерти? — спросила Милица.

— О, если бы вы все знали! — с пафосом воскликнула Балабанова. — Осталась я вдовой с малолетним сыном без

всяких средств и лишь шитьем белья в магазины поддерживала свое существование. Часто я не могла доставить ему самого необходимого. Не имея достаточного питания в детстве, организм его ослаб до такой степени, что потом, при благосостоянии, никакая гигиена не могла поддержать его. Доктор определил его болезнь благоприобретенной чахоткой, благодаря дурным условиям детства.

— Но что же вы могли сделать? — произнесла Милица, глядя на гостью широко открытыми, недоумевающими глазами: — и притом ведь сказано: не о хлебе едином будет жив человек.

— Да, это для взрослого, но для дитяти прежде всего нужен хлеб, а этого ему не доставало в детстве, — подхватила Балабанова. — Мне представлялся случай поставить своего сына в более благоприятные условия, но я не воспользовалась им. Это исповедь женщины. Вы внушаете мне доверие и я скажу вам. Я была молода и недурна собой. Мною заинтересовался один богатый человек, московский купец, известный деятель и благотворитель, неудовлетворенный своей семейной жизнью. Жениться на мне он не мог, но клялся сделать меня счастливой. — Ваш сын будет моим сыном, — говорил он. Я отвергла его предложение, предпочитая бедность и всевозможные лишения. А между тем, имела ли я право так поступить, когда у меня был ребенок?

Губы Милицы дрогнули и по лицу пробежали тени, разом омрачившие его.

Балабанова, занятая своими воспоминаниями, казалось, не заметила этого и продолжала:

— Если бы я согласилась принять его предложение, все сложилось бы к лучшему; у него вскоре же умерла жена и он мог бы на мне жениться. Наконец, то лицо вполне было достойно моего доверия: известный московский благотворитель и полезный общественный деятель. Быть подругой такого человека — мечта и гордость каждой женщины, а между тем, по молодости и увлечению другим, я не оценила его; вторично вышла замуж и счастья не нашла. Впос-

ледствии мы выиграли по билету двести тысяч, но что с того, когда уж Адя был истощен.

Лицо Милицы приняло холодное, бесстрастное выражение.

— Мать обезумела от горя и сама не знает, что говорит, — подумала она.

— Простите, я очень нервная; мне надо побывать у профессора Корсакова... Совершенно не умею владеть собой. Итак, я оставляю у вас фотографию сына и вместе с нею часть своего сердца. Фарфор, пожалуйста, возьмите каре. На углах я бы желала изобразить некоторые эмблемы скорби, как-то: раненое стрелой сердце, урну и факел, или что-нибудь подобное. Может быть, вам угодно видеть памятник, чтобы, как художнице, лучше сообразоваться в размерах рисунка и для других подробностей. В таком случае я заеду за вами?

— Хорошо. Это, пожалуй, необходимо. Аскольдову могилу я люблю, — сказала Милица.

— Так в одно прекрасное утро прокатимся. — Может быть, вам нужны деньги на материал?

— Пока все есть у меня, — отвечала Милица.

Из другой комнаты вышли две девочки в одинаковых платьицах и фартучках и молча остановились, созерцая гостью.

— Ваши детки? — встрепенулась Балабанова, вскакивая со стула.

— Да, — сдержанно ответила Милица. Ей в ту пору было неизвестно, в силу какой ассоциации идей и логики вспомнился ястреб, бросающийся на птенцов. Ощущение это пронеслось более инстинктивно, нежели сознательно.

— Как надо поступить? — сказала Милица девочкам.

Те сделали реверанс гостье.

Балабанова пришла в неописуемый восторг.

— Милые малютки, подойдите ко мне. Как вас зовут? — сказала она, расплываясь самой добродушной улыбкой.

— Меня зовут Лелей, а сестру Зоей, — отвечала старшая девочка.

— Леля и Зоя, — прелестные имена! Вы извините тете: она не подозревала о вашем существовании. В другой раз привезу вам конфет и по большой кукле. Вы позволите? — отнеслась она к Милице.

— Пожалуйста, этого не делайте. Я ведь сама могу им купить.

— О, нет, — протестовала Балабанова, — именем Ади прошу вас. Я привезу им куклы, а они пусть своими невинными устами помянут его имя когда-нибудь в молитве.

Брови Милицы нетерпеливо дрогнули; она видела, что девочки ее как-то растаяли от предложения гостии и не прочь были принять подарок. А тут вдруг у ней неизвестно отчего выросло какое-то негодующее чувство протеста и раздражения, в котором она сама не могла дать себе отчета; но Балабанова опять чуть не расплакалась, как только произнесла имя сына, и молодой женщине стало жаль ее,

— Я обыкновенно сама молюсь за усопших, портреты которых приходится делать, — сказала она. — Приходится сидеть по ночам. Жуткое чувство невольно охватывает тогда. Мне кажется, что улыбки их и выражение лица совсем иные, нежели у нас, как будто они прозревают что-то, находясь на рубеже двух миров.

Из другой комнаты послышался плач маленькой проснувшейся девочки. Милица пошла успокоить малютку, но ей это долго не удавалось.

— Тетя очень любит маленьких детей, она для них добрая волшебница, — говорила Балабанова и спросила, учатся ли они.

Старшая отвечала, что она умеет читать и писать и подвела «тетю» к этажерке посмотреть ее тетради и альбом, который прислал ей дедушка.

Вместо детских тетрадей Балабанова принялась рассматривать лежащие на этажерке книги. Первая, которую она открыла, оказалась «Quo vadis» Генриха Сенкевича. Она тотчас закрыла ее и отложила в сторону, далее попались «Фауст» Гете, два тома сочинений Байрона, Пушкин, Лермонтов...

— Ого, барынька поэзией занимается! Удивительное дело! — подумала она.

Между прочим, попадались книги и религиозного содержания, как-то: Евангелие, послания апостола Павла, сочинения Дмитрия Ростовского, акафисты. Балабанова сделала пренебрежительную гримасу и отошла.

Успокоив кое-как двухлетнюю дочь, Милица вышла в комнаты, держа ее на руках.

— Это что еще за прелестное создание? О, да вы, Милица Николаевна, счастливая женщина,

— Ее зовут Маней, прекрасно, — услыхала она от детей, подсказывающих ей имя сестренки.

Черты лица Милицы смягчились немного, она улыбнулась, глядя на заспанное, недовольное личико Мани, которая, казалось, одна из всех детей подозрительно и недоверчиво относилась к госте, сурово присматриваясь к ней.

— Нет, положительно держусь того мнения, что Крамалей с ума спятил: эта женщина не годится для флирта. Как мне оживить эту Галатею — ума не приложу. У ней каменное сердце и лицо обелиска. Ей бы только моделью для Рафаэля быть.

— Может быть, вы сами вздумаете ко мне пожаловать, то вот мой адрес, — Балабанова положила на стол свою карточку. — А пока до приятного свидания.

Она горячо перецеловала малюток.

Милица, все еще держа на руках Марусю, с легкой улыбкой протянула ей узкую длинную руку.

Балабанова вдруг неожиданно для самой себя почувствовала сильный прилив злости, нахлынувшей в ее душу, будто напор волны. Она поспешила крепко сжать руку молодой женщины и выйти.

Милица посадила на стул Марусю, накинула на плечи платок, проводила Балабанову в коридор и затворила двери.

Потом взяла фотографию, чтобы припрятать ее подальше от детей.

— Странная дама, — думала она. — Нет ли в ее посещении чего-нибудь предвзятого? Я, кажется, обошлась с ней слиш-

ком сухо. Отчего это так вышло? Неужели моя душа очерствела и закрылась для добрых деяний?..

Милица задумалась, стоя среди комнаты.

Дети попросили есть. Она дала им хлеба и молока.

VIII.

Целый день до заката солнца просидела она за мольбертом, доканчивая картину. Мысли ее, занятые соображениями о красках, штрихах и целом колорите, не могли всецело обратиться к странному посещению дамы, но урывками она все ж думала о нем.

Горе матери, потерявшей любимого сына, так велико, понятно и проявление его весьма естественно; нервная женщина могла разрыдаться и посвятить ее в свою историю. Что же тут необычайного?

Все же в ее словах и жестах проглядывала некоторая доза аффектации, которой она не могла не уловить... Или, быть может, это мне только показалось?..

Милица нахмурилась: она сделала ошибочный мазок, а солнце уже садилось и у ней болезненно ныла спина. Заря играла на небосклоне, разливаясь пурпуром, врывается в окна, отражаясь на стеклах и клала светлые блики на бледные щеки молодой женщины.

Руки ее отекали, но кисть быстро двигалась по полотну: еще два-три штриха и картина кончена.

Невольный вздох вырвался из груди художницы. Она бросила кисть, с шумом отодвинула табуретку, встала и выпрямилась во весь рост:

Последние отблески зари догорали, колеблясь дрожащим светом в окнах, и падали на изображение Богочеловека в терновом венце, освещая одну сторону Его лица с ниспадающими по ланитам красными каплями крови...

Мимоходом Милица взглянула на Него и прошла в детскую. Девочки сидели, тесно прижавшись друг к другу, и

вполголоса разговаривали об утренней госте, заронившей, очевидно, впечатление в их юные сердца.

— Ты думаешь, она добрая? — спрашивала младшая.

— Да, она волшебница и у ней всего много: золотая этажерка с игрушками, куклы, овечки, баранчики, цветы... — фантазировала Леля.

Милица опустила шторы, постелила кровати детям, дала им выпить молока: после велела прочитать молитвы на сон грядущий. Внимательно прослушав, не ошибаются ли они в словах и заметив это, она тотчас поправляла их. Пожелав спокойной ночи матери, девочки легли в постельки. Она прикрыла их одеяльцами, перекрестила и вышла в другую комнату.

Мороз крепчал. Милица внесла вязанку дров, затопила маленькую печь, пододвинула к ней мольберт, чтобы скорее высыхали масляные краски, взяла себе стул и присела ближе к огню, протянув ноги. На маленьком столике горела лампа и лежала книга. То было Евангелие, подаренное ей несколько лет тому назад ее дядей, архимандритом Евгением Оболенским, отправившимся в далекие восточные окраины миссионером.

На обложке ее рукою было написано:

Светильник истинного света,
Нигде он чаще не горит,
Как в книге Нового Завета!

Она взяла его в руки.

— И разве можно нам так жить, как живут все они — современный Вавилон? — она кивнула головой в сторону большей шумной части города, откуда доносился смутный шум, будто рев многотысячного чудовища-зверя...

Вся истина вот здесь — она положила руку на Евангелие. Здесь вложена вся премудрость, все идеалы, которой не возмогут ни противоречить, ни противостоять все противящиеся. Зачем, подобно Пилату, восклицать: «Что есть Истина», когда сама Истина стояла перед ним в прекрасном образе Человека.

Для чего приходила к ней эта женщина и что нового она может сказать ей? Уж не подослал ли ее Крамалей? Не было ли в ее аналогии чего-нибудь умышленного, предвзятого, когда она говорила о детстве своего сына? Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих, ответил Он искусителю, когда тот, воспользовавшись случаем, подступил к Нему.

Она раскрыла книгу и читала далее: «Возвел Его диавол на гору высокую, показал Ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их; ибо она предана мне и я кому хочу, даю ее: итак, если Ты поклонись мне — все будет Твое.

Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи...»

Она закрыла книгу.

Огонь догорел. Она ближе приставила мольберт, продолжала сидеть и думать.

— Если бы тебе нравился Крамалей, ты не рассуждала бы так холодно, а молча понеслась по течению, — подсказывал какой-то внутренний голос противоречия. — Острота пережитого тобою горя парализовала все чувства сердца и погасила пламень души.

Ты уже не та, что была прежде: холодный ум вступил в свои права и стал твоим лучшим кормчим.

Но все же не удержал бы тебя твой кормчий, если бы тебе нравился Крамалей и ты любила его... О, нет! не нужно мне той любви, которой дышат и живут все они: я хочу стремиться к самоусовершенствованию, царствию Божию внутри себя, как пишет дядюшка Евгений...

Отчего же ты так холодно отнеслась к несчастной и не сказала ей несколько слов утешенья и участия?

Чувствуя необыкновенный разлад сама с собою — Милица встала.

— Я отнеслась недоверчиво к этой женщине, заподозрив ее чуть ли не в стачке с Крамалеем.

— И что он мог найти во мне? Красота моя увядает, чему я искренне рада и жду не дождусь, пока совсем не сделаюсь старушкой. Надоело считаться молодой, красивой: наглых взглядов не оберешься на улице, все на тебя смотрят как-то особенно, точно дал тебе Создатель неземную красоту. И чего на меня смотрят, что нужно им? Проживающий здесь по соседству офицер постоянно преследует меня на улице. Крамалей, с которым мне случайно пришлось встретиться, вспылал ко мне страстью...

— Я буду вашим отцом, я буду вашим другом, — говорил он мне еще недавно: — я люблю вас совершенно по-юношески, я никого еще так не любил! Я не в силах превозмочь своего волнения, когда вижу вас.

Эта любовь напоминает ей ту, когда она была совсем молоденькой девушкой и ее преследовал один поэт стихами и вздохами:

Тебя я видеть хладнокровно,
Как ни стараюсь — не могу,
И разговаривать спокойно
С тобой не в силах — весь дрожу!..
Вхожу в твой дом и с замираньем
Встречаю ангельский твой лик;
Какою болью и страданьем
Твой чудный взор мне в сердце вник!..

— изнывал поэт. Почти то же самое повторял ей и Крамалей. Она отвергла тогда поэта и он опять ей написал:

Вас всем природа наградила:
Умом, талантом, красотой!..
Одним она не наделила —
Лишь сострадательной душой;
На все с презреньем вы глядите,
На все готов у вас отказ,
Понять вы даже не хотите
Того, кто страстно любит вас.

Далее следовало предсказание, что счастья в жизни она никогда не найдет, все поклонники скоро забудут ее. Письмо заканчивалось такою фразой:

Но будет помнить вас один
Иван Иванович Журбин!

Между страстью этого юноши и Крамалея она усматривает аналогию. Но лучше ей не думать о ней и бежать всех прелестей Вавилона.

Она взяла почтовый лист бумаги и хотела писать своему дяде-миссионеру, чтобы в искреннем порыве излить всю душу перед ним, так как еще с детства привыкла пользоваться его советами и руководством.

После нескольких слов перо выпало из ее рук, она почувствовала усталость: сон смыкал ее глаза.

Милица прошла в спальню, разделась и легла в постель, укрывшись белым фланелевым одеялом. Во сне ее давили кошмары и она просыпалась со стоном...

Разобраться в чувствах симпатии и антипатии к посетившей ее гостье так и не удалось: впечатление оставалось двойственным, тяжелым, давящим...

Зато Балабанова прекрасно обделала свои дела. Она заехала к своей знакомой — какой-то очень недурной, сентиментальной вдовушке.

— Ты позволишь мне на некоторое время завладеть памятником твоего сына на Аскольдовом кладбище?

— Как так? — спросила та.

— Очень просто: выдавать его за памятник моего сына, т. е. говорить, будто там похоронен мой сын от первого брака, какого у меня никогда не было. Но, видите ли, душенька, мне нужно, ввиду некоторых комбинаций, иметь сына. Я взяла карточку твоего Ади, заказала его портрет на фарфоре и вделаю в памятник. Не оскорбит ли это твоих материнских чувств?

— Нет, ничего... Ты вечно что-нибудь придумаешь! — отвечала та.

Они поговорили о прошлом, у обеих женщин имелись воспоминания, после чего Балабанова заехала к Тризне, уплатила требуемую сумму, взяла детей и отправилась к Сапрыкину. По дороге она завезла их в кондитерскую, накормила пирожками и купила по коробке конфет. Сапрыкина не оказалось дома, — пришлось подождать. Жена его — белобрысая, худая, заморенная женщина, всецело преданная мужу, поглощенная его интересами, у которой своя воля отсутствовала, — жеманно встретила Балабанову и старалась занимать ее разговором.

Потомство Сапрыкиных, состоявшее из шести белобрысых, длиннолицых с уродливыми головами рахитиков, исподлобья смотрело на привезенных детей и уже намеревалось пощипать их, как вернулся отец.

Сапрыкин расцвел улыбкой, завидев Балабанову, и сейчас же собрался ехать вместе с нею к американцу.

— Что же, ты не будешь обедать? — жеманно картавя, произнесла жена, завертывая в шаль свои тщедушные плечи.

Муж и Балабанова, по ее мнению, были людьми выше ее понятий, гении семи пядей. Все, что они приказывали, она признавала высшей волей и слепо исполняла.

— И Татьяна Ивановна скушали бы, — продолжала она: — не побрезгали...

Сапрыкин только махнул рукой и супруга умолкла.

Детей отвезли и передали на руки какому-то рыжему мистеру, получили деньги и поделили между собою.

— Сегодня недурной заработок, — думала Балабанова, возвращаясь домой.

Дома ее ожидал сюрприз.

Терентьева встретила ее, помогла раздеться и села с ней обедать; вторая наперсница отсутствовала.

— Где Алексеевна? — спросила Балабанова, кушая суп с большим аппетитом, как человек много поработавший.

— Она у Вари Дубининой, там обслуживается: Варька обещала ей подарить свое новое красное платье и взять ее в услужение, когда повенчается с Виктором, — выпалила Терентьева.

— Что вы говорите?! — воскликнула Балабанова, вращая белками глаз: — Виктор... Витя... Неужели это может быть?!..

— Что удивительного, матушка, что удивительного; давно уже продолжается их любовь, только вы ничего не знали. Я и сама ничего не знала, мне только сегодня лакей той гостиницы, где живет Варька, все рассказал. Алексеевна же давно там пресмыкается и ей уж непростительно.

— Что же собственно они думают? — спрашивала Балабанова с перекосившимся от злости лицом.

— Жениться собираются. Варька уже давно сама ничего не зарабатывает. Виктор дает ей на все деньги. Давеча у вас на вечере Валентинов обратился к ней, так она отворотила физиономию и слушать не стала.

— Какая подлость, черная неблагодарность!.. Я же ее в люди вывела, — восклицала Балабанова. Сильное и искреннее страдание отразилось на ее лице. — Отогрей змейку на свою шейку... А та что делает? — спросила она о Лидии.

— Сидит и читает какую-то книгу. Позвать ее сюда?

— Нет, я их, неблагодарных, видеть не могу.

Однако, этого нельзя так оставить; свадьбе не бывать, решила она, встала из за стола и поплелась в свою спальню.

Балабанова прилегла на кровать, но о сне и помышлять нечего было; буря ревности и злости клокотала в душе и адский план мщения складывался в голове. Смеяться над собой она не позволит.

В это время Алексеевна вошла тихими, неслышными шагами.

— Голубушка, что же это вы изменили мне, за добром платите, — сказала Балабанова, лежа в постели с закрытыми глазами.

— Я никогда не забывала благодетелей, — отвечала Алексеевна.

— А Виктору с Варькой покровительствуете и ничего мне не скажете?

— Доказательств особых не было, что же без толку вас беспокоить. Бывал он, что же с того: мог по вашим поручениям приходить... Недавно лишь узнала их планы и собиралась вам передать, только сделать деликатно, а не так,

как эта дура Терентьевна, пообедать не дала, встревожила, так что у вас пищеварение может испортиться: встали из-за стола не вовремя, а к сладкому блюду даже не притронулись... — отвечала Алексеевна, шаря по разным углам будуара и прибирая разбросанные там и сям принадлежности туалета. — Усердие не по разуму тоже не годится: медведь пустыннонику тоже хотел оказать услугу, — резонировала старуха.

— Если бы вы знали, как я страдаю! Эта неблагодарность возмущает меня!.. Вы помните, что я делала для Варьки: одевала, вывозила, человека подходящего нашла... А он изменил, променял на девчонку, шулеришка несчастный. От оков ведь сколько раз избавляла, в тюрьме бы давно сгнил...

— Нынче не ждите людской благодарности... Хотя бы Терентьевна; к чему она вас беспокоила?..

— Я должна знать, напрасно щадили меня. Во-первых, мне Варьку уже нельзя принимать: она Лидию может вооружить. Затем, против Виктора тоже должны быть приняты соответствующие меры. Мне быть посмешищем в их глазах? Никогда! Скажите, голубушка, очень он ее любит?

— Приходит каждый день, сидят, вместе гуляют, в театр едут. На днях свадьба у них — Варя платья уже заказала модистке.

— Вы к ней часто ходите: скажите, когда он является, то посылают они вас за винами? — спросила Балабанова.

— А как же, номерного иногда посылают за пивом, вином. Когда же я прихожу, мне поручают купить. Там же в доме и пивная, а за вином хожу дальше, — отвечала Алексеевна.

— Можете вы мне оказать одну услугу, дорогая: я дам вам маленькую бутылочку вина, и, когда Варька пошлет вас, то вы подайте ей его и скажите, что такого не было, какого там она прикажет, а только это. Мадеру я вам дам. Они, вероятно, это самое и пьют. Ну вот вы им и подайте, только сами не пейте, если вам предложат. Понимаете? — говорила Балабанова, сидя на постели. Прическа ее распалась, пряди волос висели спереди и сзади космами, лицо,

перекошенное злобой, улыбалось странной улыбкой. В эту минуту она напоминала Медузу.

— Понимаю, — отвечала Алексеевна, приводя вещи в порядок.

— Подойдите сюда поближе и станьте, — поманила ее Балабанова все с той же нехорошей улыбкой. — Пошлют они вас за вином, вы подадите то, которое я дам вам. Они выпьют по рюмочке и заснуть крепким... прекрепким сном. Я приготовлю им прекрасное брачное ложе... на столе анатомического театра!

И Балабанова вдруг разразилась громким неудержимым хохотом, от которого заколыхалось все ее тяжелое, грузное тело.

— В самый разгар их планов и мечтаний, — хохотала Балабанова.

Алексеевна из другого угла комнаты вторила мелким рассыпчатым смешком.

ЧАСТЬ II

I.

На N. улице стоял длинный одноэтажный дом с вывеской фотографии. У входных дверей красовались две рамы за стеклом с различными снимками, портретами, достопримечательными видами и надписью, будто здесь снимают почти бесплатно.

Поговаривали, что эта фотография возникла на каких-то новых артельных началах: в ней участвовало несколько человек товарищей. Невольно напрашивался вопрос: чем могло держаться заведение в сравнительно тихой части города? оплачивать наем помещения, а также излишний комплект рабочих рук даже и для центральных фотографий нелегко. Неужели здесь так силен приток заказов?

Редкий посетитель заходил в эту фотографию и она служила только благовидным прикрытием воровского притона.

Хозяева ее в преступном мире были известны под именем «семи братьев», хотя каждый в отдельности имел свою кличку.

Первый и самый главный заправила назывался Григорий Карпович Зубров, высокий, рыжеусый, с тяжелым взглядом свинцовых глаз, бывалый человек: прошедший огонь, воду и медные трубы; изъездил он всю Россию вдоль и поперек, судился за двоеженство, после чего бежал в Америку, откуда спустя несколько лет по подложному документу возвратился на родину.

Зубров обладал способностью подделывать паспортные бланки, печати и т. п. Дерзкий, смелый вор-громила, он иногда врывался напролом и говорил, что риск благородное дело. Товарищи называли его «Дядькою Черномором».

За ним следовал Ерофеев — некрасивый тщедушный блондин лет тридцати, со впалыми чахоточными щеками, жидкой растительностью, бесцветными глазами, сонный, апатичный и только во время операций, по части воровских проделок, оживлявшийся. Тогда ему ловкости не занимать стать.

Он действовал большею частью в театрах, церквях, вообще, где собиралась публика, с необыкновенной юркостью, изворотливостью; удачи всегда сопровождали его подвиги, по крайней мере он еще ни разу не судился за них. Стащит что-либо и не спешит удирать, стоит рядом с потерпевшим будто удрученный, вполне сострадающий потере ближнего, сам же еще полицию позовет и в свидетели вызовется.

За ловкий образ действий его прозвали «Шапкой-невидимкой».

Далее два брата Иван и Федор Кирилловичи Скакуновы, или попросту, — Ванька и Федька. Старший Иван поразительный красавец; высокий, стройный, с торсом Аполлона Бельведерского, большими черными миндалевидными с поволокой глазами и над ними брови колесом; глянет в очи — словно хлынет в сердце свет с его лица.

От этого поразительного красавца многие дамы голову теряли.

Лицо Ивана Кириллыча было несколько продолговатое; на лбу кожа белая, блестящая как алебастр, густая шевелюра черных вьющихся волос, щеки матовые с легким, едва уловимым румянцем, губы полные, ярко-красные, оттененные небольшими усами.

Иван Кириллович учился в гимназии, потом служил у нотариуса; он недурно рисовал акварельными красками, но в деле фотографии смыслил мало и промышлял большею частью адюльтером возле пожилых дам, вдовушек и т. д.

Брат его, Федор, любил играть на скрипке; его приглашали иногда на свадебные вечера, где он не прочь был стащить кое-что под шумок. Наружностью не выделялся подобно старшему Ивану, напротив, выглядел невзрачным: небольшого роста, бледный, с длинными белокурыми во-

лосами, как подобает артисту, кроме того, носил дымчатые очки; лет от роду имел двадцать с небольшим.

Следующего молодого человека звали Иваном Павловичем Патокиным. О нем можно сказать только то, что он отличался веселым разбитным характером, дома почти не бывал, с утра до вечера бегал по городу, обедал в трактирах, играл в карты, на бильярде.

Затем в фотографии проживала еще какая-то мрачная неопределенная личность с небритой бородой, в пальто бутылочного цвета, стоптанных чужих калошах. Настоящего имени и фамилии его никто не знал, а сама неопределенная личность именovala себя Разумником; числился же он по документу умершего старшего брата Патокина. Иногда у братьев собирались гости, неопределенная личность тоже выползала, питая особую страсть к азартным играм.

Седьмой и последний член этой достойной компании был мальчишка лет семнадцати по имени Семка, беспаспортный бродяга. История его такова: однажды летним вечером Иван Кириллович возвращался с купанья вдоль берега Днепра и встретил еле бредущего мальчугана с пучком соломы под мышкой. Мальчик едва двигал ногами, поминутно останавливался, стонал и схватывал себя за бок, а с лица его прямо глядел голодный тиф.

Скакунов медленно шествовал под белым шелковым зонтом. Солнце еще не село, но, уже близкое к закату, не жгло, пыли в воздухе скопилось достаточное количество и долгое отсутствие атмосферной влаги давало себя чувствовать.

Столкнувшись с мальчуганом, он остановился и спросил:

— Куда идешь?

— А туда... за дровяные склады на ночлег, — отвечал мальчик с помутившимся взглядом и бледными бескровными губами.

— Ты там ночуешь?

— А где же больше? соломку подстелю и лягу.

— Болен, что ли? — продолжал допрашивать Скакунов.



Иван Кириллович возвращался с купанья вдоль берега Днепра и встретил еле бредущего мальчугана с пучком соломы под мышкой.

— Нездоровится. Три дня ничего не ел. Когда сила была, пойду на базар, стащу что-либо съестное и убегу, а теперь торговка догонит и коромыслом забьет.

Скакунов засунул в карман руку, отыскал в нем две абрикосовые конфеты, портсигар, два двутривенных и еще трехкопеечную монету и задумался, куда он истратил деньги; недавно получил сорок рублей от полковницы Z., которой раскрасил портрет ее покойного мужа. Третьего дня он изрядно покутил на Трухановом острове, напился пьян и не помнит, что было.

— Черт с ними, стоит ли голову ломать, — сейчас же подумал он с беспечностью Iorenzo, подал Семке трехкопеечную монету и попросил, чтобы тот изложил ему свою биографию.

— Спасибо, — пробормотал парень. — Я без роду и племени, барин, отца совсем не помню, а матку, будто сквозь сон. Родился в Нижнем, а оттуда мать переехала в Москву, поступила в прачечное заведение и умерла в больнице. Я остался сиротою и почитай что на улице вырос. Помню, взял меня какой-то старик, посылал побираться и все, что выпрошу, он забирал себе. Из Москвы меня вывез в Одессу грек и поместил в булочную, там я прожил три года. Затем очутился в Киеве. Здесь меня нанял пирожник за шесть рублей в месяц носить от него на продажу ящики с оладьями. Потом уже попал в одну хорошую компанию, только их, бедных, всех скоро переловили, а я остался, что называется, не при чем, — закончил он свое повествование и схватился за бок.

— Теперича вот заболел и хоть пропадай, все едино конец, видно, пришел.

— Что же ты делал у тех людей? — спросил Скакунов.

— Да все, что приказывали: обучали, как часы сорвать, али в магазин пролезть. Иной раз бывали удачи!

При этом воспоминании, составлявшем, очевидно, светлую страницу его жизни, лицо мальчика озарилось проблеском счастья. Он улыбнулся и эта улыбка, на бледном чах-

лом лице, отразилась подобно блеску солнечного луча в лужице мутной воды.

Скакунову вспомнилось собственное неприглядное детство, когда он, бедный, оборванный, бегал по улицам и его нещадно колотил отец, — пьяный театральный парикмахер.

Вспомнил он невольно свою мученицу-мать, лежавшую в гробу с сине-багровым пятном у правого глаза. Соседки ахали, кивали головами, отец заливался пьяными слезами, клал земные поклоны и у всех просил прощения, в то же время непрестанно подбегал к кровати с ситцевым пологом, где пищал шестинедельный Федька, проделывал таинственные манипуляции с графином водки, после чего становился еще красноречивее.

— Добрые люди, зачем она умерла? какая рукодельница, хозяйка была! — восклицал он.

Сострадательные соседки брали на руки Федьку и совали ему в рот соску из жеваных бубликов.

Впоследствии отец окончательно спился; их взял на воспитание один странный, бездетный господин и дал им приличное образование. Плохо они поблагодарили своего благодетеля. Ну да к чему воспоминания, пусть мимо идут. В голове мелькнула идея.

— А ведь парнишка пригодится нам.

В это время промчался экипаж; в нем сидели две дамы и рослый кучер-бородач, в цветной рубахе, армяке, перетянутом поясом, лихо правил лошадьми.

— Какой красавец! — донеслось до его слуха. Иван Кириллыч самодовольно улыбнулся, впрочем, ему не в первый раз доводилось слышать похвалы.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Мальчик назвал себя.

— Вот что, Сема: мы тебя вылечим, приутим, сделаем паспорт. Нас несколько человек добрых господ. Выздоровеешь, будешь нам услуживать. Бросай солому и следуй за мной издалека, не теряй только из виду.

Скакунов пошел, Семка последовал за ним.

С неделю он провалялся в чулане, охая и стелая, потом немного оправился и начал услуживать компании; чистил

им сапоги, промывал стекла негативов, мыл полы. Черномор сочинил удивительный документ, якобы из какой-то Муромской волости, Орловской губернии и преблагополучно предъявил его куда следует. Семка боялся тюрьмы больше всего на свете и на господ своих смотрел как на избавителей, в особенности он привязался к Ивану Кирилловичу.

Ранее братья столовались в дешевых кухмистерских, теперь же поваром себе приспособили Семку. Оказалось, что мальчишка уже знаком с этим делом: он хорошо приготавливал оладьи и пирожки. Впрочем, домашний обед компании не отличался прихотливостью и часто состоял из вареного картофеля, селедки или жареных сосисок, приправленных доброй бутылкой водки. Зато в ресторанах они умели наверстывать, когда, разумеется, случались деньги, а дома перекусывали чем попало.

Недалеко находился винно-гастрономический магазин и там, при желании, всегда можно было достать все необходимое.

За услуги мальчик получал носильное платье и неопределенные подачки деньгами.

С декоративной стороны обстановка дома не оставляла желать ничего лучшего. Довольно обширный светлый зал, завешанный различными снимками и уставленный венскими стульями в ряд, влево следовала стеклянная галерея с приспособлениями для снимания портретов и камер-обскурой, прикрытой куском темного сукна.

Из залы дверь вела в рабочий кабинет с мольбертом у окна, письменным столом, кассой, этажеркой с дешевенькими бюстикami, пучком искусственных цветов и портретом хорошенькой женской головки.

В следующей комнате, отделенной коридором, стояло несколько кроватей, на полу протянулся пестрый ковер, а по стене развешано, очевидно, для украшения, кое-какое оружие.

На постели лежал Зубров и курил трубку. Он редко выходил к посетителям, предоставляя это другим — преимущественно Скакунову или Ерофееву.

В кухне, присев на корточки, Семка чистил картофель, приговарывая сварить его, для чего затопил уже плиту. Белый песик прилег вблизи и повиливал хвостиком, в ожидании обедков.

— Сегодня, брат, нет мяса, — объявил ему повар.

Песик надвинул ушки и умилительно махнул хвостиком.

— Семка, поди купи водки! — рычал Зубров и сплевывал в сторону, вспоминая, что нет денег.

Скакунов также возлежал на постели, почитывая книгу, роман Эмиля Габорио.

В другой комнате Федька пиликал на скрипке. Неопределенная личность, в калошах Ивана Кирилловича, расхаживала взад и вперед по коридору, иногда подходила к Федьке и перекидывалась с ним короткими отрывистыми фразами.

— Эх, жизнь! — ворчал Зубров, — неприятная полоса безденежья. Кого бы это пощупать? — и он протягивал свой мускулистый волосатый кулак. — Ванька, брось книгу читать, давай посоветуемся, как быть, где денег достать.

— Что? — отозвался Скакунов.

— Денег достать, хочется выпить, а в кассе ни копейки. Право, если такое настроение продолжится, пойду грабить по домам напрапом.

— Мне самому деньги нужны, собирался в маскарад поехать и не в чем: сюртук уже никуда не годен, да и калоши Разумник истрепал так, что придется бросить. В порядочный дом совестно надеть, — отвечал Иван Кириллыч.

— Нет, братец, ты серьезно измысли что-нибудь, — сказал Зубров, потягиваясь и зевая, после чего встал с постели и прошел в рабочий кабинет. У окна за мольбертом сидел Ерофеев и, щуря свои подслеповатые глаза, накладывал тушь на какое-то изображение женского лица, поглядывая на улицу и напевая про себя.

Иван Павлович Патокин по обыкновению отсутствовал.

— Что, дядька, скажете? — спросил Ерофеев у вступившего в комнату Зуброва.

— Посоветоваться нужно, зови прочую братию, — обратился он к Ивану Скакунову.

Неопределенная личность, заложа руки в карманы, не замедлила явиться, а вслед за ней Федька, неся в руках свою излюбленную скрипку.

— Извини, Иван Кириллыч, что я твои калоши надел, — пробасила неопределенная личность.

— Все равно носи уже, другие куплю, — ответил Скакунов и прибавил в сторону брата: — Федя, брось скрипку, ты мне невыносимо надоел.

Черномор начал.

— У кого, братцы, есть гривенник, двугривенный, выкладывайте и пошлем за водкой, горло промочить. Нуте, не скрытничайте.

Скакунов и Ерофеев выложили какую-то мелочишку. Зубров взял монеты на свою широкую ладонь, потряс ими и сказал Федьке:

— У тебя, артист, не найдется ли чего?

Тот подал двугривенный.

— Хотел было ноты себе купить, да что будешь с вами делать, — пробормотал Федька.

— Ни копейки нет, — важно объявила неопределенная личность,

— У вас, кажется, никогда не бывает, — вставил Федька Скакунов.

— Врешь, — внушительно заметил Разумник, — я однажды в Москве у одного помещика тысячу рублей выиграл, — и вышел в кухню, чтобы послать Семку за водкой.

— Скажите ему, пусть картошку подаст сюда, — визгливым голосом закричал Ерофеев вслед и продолжал напевать про себя.

Сенька вскоре принес водку, копченку, нарезанную кусочками, картофель и хлеб.

— Уф! — проговорил Зубров, подкрепившись двумя-тремя рюмками и закусывая копченкой.

В приятной дружеской компании Зубров почувствовал потребность рассказать что-нибудь.

— Знаете, господа, какой удивительный случай произошел в городе Харькове, — начал он. — Там даже участвовал мой знакомый Петька Вольский. Это было вскоре после

свержения с престола болгарского князя Александра Батенберга. В Харькове проживал один очень богатый купец, Свирид Свиридыч Ващенко, самодур, каких мало, но когда расщедрится, то большие суммы жертвовал на различные благотворительные учреждения, также в пользу болгар отослал что-то. И собралась, братцы вы мои родные, нас одна компания, кто с сосенки, кто с бору. Сочинили мы болгарские костюмы, загримировались и явились к нему якобы депутацией от государства, чтобы избрать его на престол. Петька Вольский, разбойник и мастер красно говорить, назвался именем какого-то тогдашнего главного министра-агитатора — Стамбулова... что-то сейчас не припомню, выступил вперед и повел такую речь: приехали поблагодарить вас за сочувствие к нам, славянам; ваша благотворительность известна всем. Просим вас принять корону, «княжити и владети нами». Преподнесли ему регалии княжеского достоинства, корону там какую то, орден, мантию и кто его еще знает что,

Сумели разжалобить купчину. Личность вы, мол, высокая, гуманная. Страна наша нуждается в таком правителе. После русско-турецкой войны мы страшно истощены; добились свободы, но враги не оставляют нас в покое, а также соседние государства нас клеветой теперь чернят; что будто все мы одичали, что рабство истинный наш быт, наука никогда к нам не привьется, что нас позор не тяготил...

Прежде всех этих нареканий они бы вспомнили хоть раз наше историческое прошлое, жизнь нашу, полную лишений, под игом турецкого владычества, страдания наши, не прекращавшиеся никогда. Скажите, достопочтенный, когда враги нас не истязали, когда бедная отчизна не стонала от бед хотя единый день, когда не жгли наших сел и городов, не уничтожали имущества? Но всего этого злодеям было мало: они еще отнимали у нас жен и детей; невинных младенцев на глазах матерей убивали и сажали на колья, как звери хищные терзали! И так разошелся, откуда только слова брались. У супруги Ващенко слезы выступили на глаза; сам он тоже расчувствовался и подарил нам пять тысяч. — Что, не верите? Как одну копейку, будь я

проклят! — Черномор обвел глазами всех присутствующих, выпил еще рюмку и продолжал.

— На другой день обрядился он во все регалии, как шут гороховый, да к губернатору. — Честь имею кланяться, князь болгарский. Там переполох: что такое? — Одно слово, твердит Ващенко: князь болгарский, призван депутацией на престол и хочу, мол, ехать. Его, раба Божия, отправили на Сабурову дачу, в дом умалишенных. Мы же знатно погуляли. Будет помнить Харьков-град! Сыскная полиция с ног сбилась. Свалили было на студентов, а мы себе только под ус смеемся: ладно, братцы — щи вам с кашей и книги в руки. Ващенко, друг сердечный, три месяца просидел в психиатрии на испытании; мы даже жалели хорошего человека. Насилу жена выручила. Так потом за ним и осталась кличка князя болгарского. Вот гениальное предприятие. А вы что? — мелочь, Божии младенцы. Вам только впору платки из кармана таскать, — закончил Черномор и потянулся к водке.

— Слыхал я эту историю, — отозвался Скакунов. — Я ведь сам из Харькова, учился там в гимназии.

Знаешь, Клара, мы с тобою
Не надолго бедняки
Я в Австралии открою
Золотые рудники...

— подпевал Ерофеев, работая кисточкой.

Рок смирит свои удары,
Мы услышим денег звон
И к ногам прекрасной Клары
Положу я миллион.

— Однако, Федя, сходи в кухню и спроси у Сеньки, нет ли у него еще картошки, — сказал он.

Дверь отворилась и в комнату вошел Виктор Головков.

— Приятель дорогой, как поживаете, — обрадовался Зубров и ослабилась; кожа его лица около щек собралась тол-

стыми складками, как у верблюда, выпученные глаза налились кровью.

Головков со всеми поздоровался. Скакунов дружески хлопал его по плечу и подмигнул своими черными удивительными бровями. Неопределенная личность, заложив руки в карманы бутылочной шинели, подступила к нему и пробормотала сердито:

— Послушай, Головков, отчего ты не введешь меня в дом своей Болванихи? Там бывают карточные вечера и я бы мог кое-что заработать. Клянусь честью: подобное отношение расходится с принципами товарищества!

Головков, занятый ответами направо и налево, не обратил внимания на требование неопределенной личности.

— Нет, серьезно, брат, я недоволен, — басила та.

— Куда вам, Разумник! — отвечал за Головкова Федька. — Там ведь не примут вас в братниных калошах.

Сам он несколько раз был у Балабановой и благоговел перед ее обстановкой, вечерами и т. п.

— Прошу не рассуждать, — огрызнулась неопределенная личность: — тебя не спрашивают; знай свою скрипку.

— Ей-ей, я правду говорю, — подтвердил Федор и заиграл польку.

— Женишься? Неужто? — воскликнул старший Скакунов. — Врешь, Витька! А как же Балабаниха?

— Хочешь — я ее тебе подарю. Это паук, а не женщина. Я рад развязаться с нею. В последнее время выдумала после каждого мало-мальски порядочного выигрыша в ее доме отбирать у меня все деньги. Я плюнул. Что, в самом деле, крепостной я тебе!.. Тюрьмой как-то вздумала припугнуть меня. Эге! матушка моя, за тобою такие дела водятся, что если бы раскопать, давно бы по Владимирке пошла. Теперь хочет дом покупать, — отыскал ей Сапрыкин и мне известно, что она уже забрала из банка все свои сбережения в количестве тридцати пяти тысяч.

Головков затянулся папиросой, выпустил клубы дыма и обвел всю компанию глазами.

Сообщение Виктора произвело потрясающее действие на братию. Особенно Зубров заработал головой.

— Вот тут бы ее накрыть, выбрать удобный момент, уличить в каком-либо преступлении, — она иногда проделывает ужасные вещи — и нагрянуть с обыском, будто бы полиция проведала. Вы, дядя, за пристава сойдете, другой за околоточного, — говорил Головков, обращаясь к Зуброву.

— А верное слово, Витька всех нас тут умнее! — подхватил Черномор. — Мы сидим на бобах, думаем, гадаем, где денег раздобыть. Я им вот сейчас рассказал, как в Харькове теплые ребята надули купца. Надо и нам с Болванихой проделать такую штуку, у приятеля, что называется, дубинку вырвать. Ай да Головков!..

— Старайтесь следить и уличить ее в каком-либо деянии, да по горячим следам врасплах нагрянуть. Случай не заставит себя ждать; она недавно, вместе с Сапрыкиным, продала какому-то проходимцу двух детей, которых выудила у акушерки. Тут концы в воду канули. Теперь собирается сбыть молодую девчонку-сироту и выжидает, кто больше даст. Мою невесту Варю метила отправить куда-то в гарем на окраину. За успех ручаюсь: испугается и выложит все деньги.

— Идея сама по себе великолепная. Нужно только выждать удобного времени и заготовить аксессуары. Поздравляю, Головков! Вашу великолепную идею и предстоящую женитьбу следует вспрыснуть; по-настоящему, нам, как хозяевам, следовало бы это сделать, но за безденежьем извините, — начал Зубров.

— Это пустяки! сделайте одолжение! — с фатовским видом отозвался Виктор и выбросил на стол двадцатипятирублевую бумажку.

На сцену опять явился Семка.

— Беги в магазин и купи полдюжинки вина, дюжинку пива, водки и чего-нибудь закусить копчененького: селедочек, икры, балычку, грибов, — приказывал Зубров, дополняя мысль движением пальцев. — Живее!

Семка, получив деньги в руки, вышел в кухню и принялся напивать на себя какое-то пальтишко.

Неопределенная личность тоже последовала за ним и просила его зайти к прачке Дарье.

— Я уже говорил ей. Она смеется над вами, — нетерпеливо отозвался Семка, отыскивая шапку. Из всей компании он больше всех уважал и слушал Ивана Кирилловича и менее всех неопределенную личность.

— Ты, голубчик, так скажи ей: барин мой теперь при деньгах, велел кланяться и просил прийти. Сам, мол, нездоров, лежит в постели... Еще скажи, что я ей сделаю хороший подарок и угощу.

— Не знает она, что вы в калошах Ивана Кириллыча щеголяете. Дура вам, далась Дарья. Чего я пойду? Чтобы прачки на смех подняли меня?!

— Ты много не разговаривай, а делай то, что тебе приказывают. Неудачи мне — слова нет — изменила фортуна; великим людям — и то изменяло счастье. Слышал ты про Наполеона? Полмиром обладал и вдруг всего лишился и в заточение попал.

— Нет, — сумрачно ответил Семка и, захватив корзину, выбежал.

— Эх! скучная материя, — сорвалось у Ерофеева, сидевшего за мольбертом. — Опять идет отставной военный за портретом своей дражайшей половины, а я его не окончил и черт возьми — забыл совсем, валяется там где-то.

Он вышел в залу. Приятели продолжали разговаривать и совещаться; из приемной к ним донеслись восклицания шамкающего старческого голоса.

— Помилуйте, когда же наконец будет готов портрет? Невероятно долго продерживаете заказы.

— Повремените, пожалуйста, немного: масса работы, кругом завалены, притом два ретушера больны, — извинялся Ерофеев.

— Изю дня в день уверяете меня, что сделаете заказ — и нет. Когда к вам наведаться, по крайней мере? — ворчал военный.

— Денька через три непременно... Будьте покойны. Прикажете, быть может, расцветить акварелью?

— Это излишнее. Посмотрю, что скажете через три дня, — с этими словами заказчик вышел.

— Вот еще комиссия. Заплатил два рубля и теперь ходит душу выматывать. Надо старику оканчивать портрет. Вы, Федя, ничего не делаете, садитесь к окну и работайте, — отнеся Ерофеев к младшему Скакунову, водившему смычком по струнам.

— Федька, брось скрипку, — строго сказал Иван Кириллович. — В самом деле, почему один Ерофеев работает, а из вас никто не поможет ему?

— Вот еще? Ерофеев взялся за дело, пусть сам и кончает его; мне нужно разыграть вальс. Я иду на свадьбу вечером.

— Если ты осмелишься издать звук в моем присутствии, я разобью скрипку о твою голову. Притом куда собираешься без разбору: к сапожнику, — что ль, на Дмитриевскую улицу?

— Вовсе не к сапожнику, а к почтово-телеграфному чиновнику. За три рубля договорился, — объявил Федька.

Иван Кириллыч с презрительным видом отворотил от брата свое красивое холодное лицо.

— От трудов праведных не наживешь палат каменных, — возгласил Зубров.

— На прошлой неделе мне представился очень удачный случай в трамвае, — сказал Ерофеев, присаживаясь к мольберту и поглядывая в окно, не видать ли Семки. — Ехали вот вместе с ним на Печерск, — указал он на Скакунова: — мне там предстояли кое-какие делишки, а он отвозил заказ полковнице. Напротив села какая-то дама и глаз не спускала с него, ридикюль положила около себя, а сама не сводит очей, будто гипнотизирует его.

Ванька надвинул боливар важно этак, точно в самом деле английский лорд. Я воспользовался этим моментом, придвинулся ближе, накрыл ридикюль полый своего пальто; тут подошел кондуктор; за его спиной я незаметно к выходу, соскочил около Царского сада и прошел в уединенный проулок.

— Я еще удивлялся, зачем ты вышел, — подтвердил Скакунов. — Что ж, много денег оказалось?

— Рублей сорок было с мелочишкой. Кутнул немножко, дядьке занял. — Ерофеев продолжал неторопливо водить кисточкой по снимку, оттеняя его, где нужно и, наоборот, скрадывая слишком резкие тени и пятка. — Разве можно эквивалентом выработать, чтобы жизнь красно катилась? Вот сижу, гну спину за два рубля... несчастный мученик... (Ерофеев вздохнул) и неприятности имею. Ведь силы-то человеческие очень ограничены. Что в состоянии он выработать? Лишь на кусок хлеба себе, а жить хочется, как все. Разве Валентинов или Сысоенко не грабят? Только они грабят на законном основании. Мы с Зубровым под новый год на такое предприятие решились: прямо квартиры громили. Он забрался к какому-то доктору, я ко вдове священника; старушка пошла в церковь, а я того...

— Все пустое! Многим ли мы поживились? — отозвался Черномор. — Я еще с хозяином встретился, хватил его по башке, а сам бежать.

Явился посыльный в своем полушубковском наряде: длинном кафтане с красными нашивками и красной шапкой в руках.

— Полковница Х. просили пожаловать вас переснять целый альбом. Работы на целый месяц хватит, — обратился он к старшему Скакунову.

— Хорошо. Кланяйтесь и скажите, что буду, — отвечал Иван Кириллыч, и, сунув посыльному какую-то монету, выпроводил его.

Возвратился Сенька с корзиной припасов.

— Голубчик, что сказала Дарья? — встретила его неопределенная личность.

— Чтоб вы прежде обулись, — дерзко отвечал мальчишка, перетирая тарелки, и, таинственно переступив порог кабинета, поманил рукой Ивана Кириллыча.

— Ну? — спросил тот, подходя к фавориту.

— Две барыни в лимонных платьях велели вам кланяться. В большом угловом доме живут... Купчихи, — передавал мальчишка, после чего торжественно подал на стол винные бутылки и закуску.

Неопределенная личность подошла к столу — запить рюмкой вина горечь своей тоски.

— Эх! пропадай жизнь молодецкая! — бросил кисти и палитру с тушью Ерофеев и подошел тоже пропустить чарочку-другую. — Женитесь, Головков! Поздравляю вас, желаю вам спокойствия семейного очага. Нас не забывайте.

— Я тоже присоединяюсь к поздравлению, — прибавил Зубров, поднимая рюмку. — Сам был несколько раз женат... три или четыре, забыл уже, но счастья не обрел, а вам желаю от души. Балык будто чем то припахивает, — пробормотал он, между прочим, и чокнулся с Виктором.

— Надоело вечно чувствовать себя травленным зайцем. Варя хорошей подругой будет. Инженер Валентинов дает мне место у себя. Жалованье приличное. Найдутся кой-какие доходишки... Оно все же покойнее. Мне он немножко доверяет. Присмотревшись к делу — в мире проделок инженерских, я сам пойду на всех парах, — откровенничал Виктор.

— Одолжи, братец, надеть мне свои штиблетишки, — обратилась неопределенная личность к Ерофееву. — Все равно сидишь за мольбертом, а я бы скоро вернулся. Мне недалеко сходить тут...

— Неравно заказчики придут, что же я к ним босой выйду, или в калошах? Вообще у меня правило никому не давать обуви.

— Это комично! Без сапог сам Бисмарк ходить не мог. Головков, займи мне три целковых на обувь, — обратился Разумник к Виктору: — пойду на Сенную и куплю себе подержанную. Клянусь честью, возвращу при первой возможности.

— На, голубчик, Бог с тобой, — отозвался Виктор, достал из кармана бумажник, отыскал кредитку и вручил ему.

— О, да ты богат! — воскликнул Иван Кириллыч и схватил его за горло, крича:

— Кошелек или смерть!

— Оставь, Ванька, горло болит, недавно у доктора даже лечился...

— Кошелек или смерть! — продолжал кричать Иван Кириллыч, потрясая приятеля за плечи. А Федька, пользуясь веселым настроением брата, забренчал на скрипке разухабистый вальс. Зубров, выпучив глаза, бессмысленно хохотал и чувствовал себя уже не в силах подняться без посторонней помощи.

— Стойте, стойте, оголтелые! Там какая-то дама пришла, — останавливал расходившуюся компанию Ерофеев, но его никто не слушал.

— Так что ж с того, что дама... Разве воспрещается в приятной дружеской беседе веселье? — бормотал Черномор, с трудом поворачивая язык.

Ерофеев махнул только рукой и поспешно вышел в зал.

Федька, не переставая поводить смычком, выглянул в двери.

Среди приемной стояла Милица Затынайко со свертком в руках и, разворачивая его, просила фотографа снять с маленькой карточки.

— Хорошо, прекрасно-с, можно, — соглашался Ерофеев, наклоняясь всем корпусом вперед.

— Портрет этого офицера в нескольких экземплярах повторите, — говорила Милица и, вспомнив, что у ней три девочки и каждой желательно будет иметь, когда подрастет — память об отце, сказала: — три больших кабинетных портрета.

— Непременно постараюсь, с отменным удовольствием для вас. Когда угодно иметь снимки? Может быть, прикажете акварелью разделать в трех тонах?

— Что это будет стоить? — прервала его Милица.

— Сущие пустяки. Я никогда не торгуюсь. Прикажете доставить их на дом?.. Ваш адрес, m-me?

— Я сама зайду за ними, или пришлю, — нерешительно ответила Милица и вышла. Ерофеев проводил ее до выходных дверей с изящным поклоном и опрометью бросился в кухню,

— Семка, беги сейчас вслед этой барыне, проследи, куда она пойдет и узнай ее фамилию. Я тебя поблагодарю, — заговорил он торопливо.

— Некогда мне, отвечал Сенька: — у меня ноги не собачьи! Тот все к Дарье посылал, вы с барыней пристаёте. Никуда не пойду, пока Иван Кириллыч не прикажут, — решительно заявил он.

— Удивительное дело, Скакунов, как вы распустили мальчишку! Никого слушать не хочет, грубиян ужасный. Прощу его бежать вслед за дамой, что сейчас была, узнать, где она живет, а он мне в ответ: кроме Ивана Кириллыча никого знать не хочу.

— Довольно странная претензии. Я-то при чем? — обиделся Скакунов.

— Они пользуются всеми благами цивилизации, я сижу за них — работаю. Приглянулась барынька — не дают возможности собрать справок, — ворчал Ерофеев, принимаясь опять за свой мольберт.

Затынайко в это время проходила по другой стороне улицы, как раз против его окон.

— Вон она, — обрадовался Ерофеев. — Ну вас с работой! Брошу все и начну ухаживать.

— Далеко кулику до петрова дня. Я знаю эту даму. Она на вас не обратит ни малейшего внимания, — сказал Головков, взглянув в окно.

— Вы уже с Ванькой писанные красавцы, сердцееды, маски парикмахерские, — сердился Ерофеев.

Приятели хохотали.

— Поймите, несчастный, что за ней ухаживает Крамелей. Куда же вам с ним равняться! — отстаивал Головков.

— А я вот назло вам познакомлюсь с ней, — возражал Ерофеев. — Давайте пари.

— Голову прозакладую — ничего не выйдет!

— Ну, а если бы я, Витька, вздумал этак приударить? — подзадоривал Скакунов с сознанием всепокоряющей силы своей красоты.

— Глупый и совершенно неуместный разговор вы затеяли, — сказал Черномор, потягиваясь и зевая. — Проводите-ка меня в спальню.

В комнату вошел с раскрасневшимися от мороза щеками Иван Павлович Патокин с целым коробом новостей, собранных им по воздуху.

За ним просовывалась лисья физиономия Сапрыкина.

— Я к вам по делу, молодые люди, по очень важному делу, — начал он. — Собственно, мне нужен один Иван Кириллыч Скакунов. Можете уделить несколько минут для разговора? — начал он.

Головков успел сделать приятелю знак предостережения...

— Говорите здесь. У меня нет секретов, — отвечал Иван Кириллович.

Сапрыкин обвел всю компанию глазами, уселся на стул возле Скакунова и начал:

— Обстоятельства такого рода; один господин желает развестись с своей супругой ввиду нового предстоящего ему брака с богатой девицей. Супруга же и слышать не хочет о разводе, предпочитая переносить нравственные оскорбления, нежели принять на себя вину. Дама безупречная-с. Супруг тоже не намерен уступить: на той стороне перевес симпатии и материальной выгоды. Требуется соблюсти маленькую формальность, установленную законом: вам предлагается благородная роль Ромео дамы... Т. е., в ее отсутствие вы придете в дом, вас проводят и спрячут в ее комнате. Супруг, выждав время, когда она возвратится к себе и замкнется на ключ (вследствие обострившихся отношений она всегда запирается, держит себя гордо, высокомерно, с мужем почти что не говорит), нагрянет с понятиями якобы уличить в неверности...

— Нет. Я на это не согласен, — решительно объявил Скакунов.

— Почему?

— Не желаю фигурировать на суде в грязной истории. Удивляюсь, что вы обратились ко мне. Я слишком дорожу своей репутацией.

— Помилуйте... соответствующий гонорар...

— У нас тут есть некто Разумник. Он, быть может, согласится, а меня, пожалуйста, увольте от благородной роли.

С этими словами молодой человек встал и собрался выйти из дому за заказами к полковнице.

II.

Милица вышла из фотографии с чувством смущения и недоумения. Она там пробыла всего несколько минут и вынесла тягостное впечатление.

К ней выскочил чересчур развязный господин, в потрепанном платье и белье, но отнюдь не смущающийся этим. Ей было как-то неловко от пристального взгляда его серых глаз, хоть глядел он так покорно, говорил полусмеясь, делая в тоже время размашистые и неуверенные жесты рукой.

Из другой комнаты доносились пьяные окрики, пение и хохот. Куда же она зашла? Неужели в вертеп, имеющий мало общего с ремесленным заведением?

— Что это? С некоторого времени она становится недоверчивой, подозрительной, избегает людского общества. М-ме Балабанова, кажется, прекрасная, всеми уважаемая женщина, несколько раз была у ней и она до сих пор не нашла случая отплатить ей визитом. Правда, речи ее как-то странны и детям ее она подарила куклы... Это ей положительно не нравится...

— У меня начинает портиться характер; я становлюсь мизантропкой, — решила Милица. Дядя Евгений непрерывно пишет ей в своих письмах издалека о любви и уважении к ближнему, прибавляя: будьте просты, как голуби, и мудры, аки змеи.

— Я только отвлеченно могу мир любить в целости, но не отдельную человеческую личность. Например, можно ли любить неряшливого франта-фотографа? О нет! Ближний в таком виде возбуждает у ней нравственное и физическое отвращение. И как вообще жизнь реальная далеко отстоит и расходится с идеалами. Ей, несмотря на постоянную, напряженную работу мысли и стремление к самоусо-

вершенствованию, так трудно разобраться в окружающей сфере. В обществе перепутались понятия о злом и добром: нельзя узнать, кто лжет, кто правду говорить, непрочность, шаткость убеждений повсюду. Померкло истины сияние, кругом тьма, торжество зла и только в сердце ее горит стремление к истине святой. Иногда этот светоч добра разливался ярким пламенем и согревал ее внутренне.

Но иногда наступали мрачные полосы в ее жизни. Где тот пророк, за которым можно пойти, молиться ему и сказать: возьмите всю мою жизнь и истратьте ее, на что хотите?..

Такой пророк вскоре нашелся в лице ее ближайшего родственника-архимандрита, Евгения, посвятившего себя миссионерской деятельности. Сначала он проповедовал между раскольниками, затем отправился к диким народам.

Раньше отец Евгений проживал в монастыре маленького города, вблизи которого лежало его небольшое имение под именем «Архиерейской рощи», где он в тиши и уединении проводил летние месяцы. Маленькая Мила часто ходила к нему с своими братьями и сестрами и любила слушать, что он говорил. Его слова и поученья святой дышали простотой и глубоко западали в сердце девочки.

Вскоре он уехал из Архиерейской рощи.

Находясь в странах далеких, он не забывал ее. Теперь она шла на почту получить его письмо и посылку. День стоял теплый, солнечный и она решила пройти пешком.

Вообще Милица редко выходила из дому. Ей всегда казалась чуждой и ненавистой шумная часть города.

Встречающиеся на улицах кокетки, в ярких кричащих туалетах, с размалеванными физиономиями и стереотипными улыбками, приводили ее в ужас.

— Несчастные заблудшие создания, что есть у вас человеческого? — думала она, глядя на них с неопишуемой жалостью. Быть может, в своей простоте, они не сознают всего ужаса своего положения. Кому мало дано, с того мало и спросится...

Она спешила пройти скорее. На повороте улицы ей встретилась Балабанова. Милица думала только разменять-

ся поклонами, но Балабанова подошла и заговорила. Некоторое время они шли рядом. Молодая женщина замечала, что многие встречные кланялись Балабановой, и на нее вскидывали быстрые недоумевающие взгляды; Милица не могла не поражаться обширным знакомством последней.

— Должно быть, она женщина, заслуживающая всеобщее уважение.

Мнение это подтверждалось поклонами и выражением лиц встречающихся.

Так, например, Сапрыкин, обнаружив лысую голову, особенным изгибом спины выразил ей свое почтение.

— Вполне приличная особа, пользующаяся популярностью. Не знаю, почему я раньше была предубеждена против нее, — подумала Милица и изъяснила согласие на предложение Балабановой зайти к ней.

— Письмо дяди Евгения успею вечером прочесть. У детей есть пожилая женщина, недавно нанятая, — мелькнуло в ее голове.

Солнечный свет, тепло, движущаяся толпа оживили молодую женщину и она почувствовала некоторую приподнятость духа.

Навстречу шел пожилой, интеллигентный господин с осмысленным лицом. При встрече с Милицей он приподнял шляпу, опустил глаза и покраснел, будто юноша.

Невольное смущение выразилось и на ее лице, что не укрылось от пронизательного взгляда Балабановой.

— Вы знакомы с Крамалеем? — спросила та.

— Немного, — отвечала Милица.

— Прекрасный человек. Я просто благоговею перед ним и держусь того мнения, что свет только и держится подобными личностями, — с жаром воскликнула Балабанова.

Милица засмеялась.

— Вы не разделяете моего мнения, но я во что бы то ни было отстаиваю его: Крамалей — высокая, гуманная личность. Со стороны гражданской деятельности в нем нет погрешностей. Может быть, там частные, семейные дела. На солнце есть пятна и в кумирах, высоко стоящих, при

желании найдем что-либо. В семейных обстоятельствах, знаете, очень трудно разобраться. Многие его обвиняют, а я слышала от близких людей, будто она невыносимая ханжа и буквально отравляет ему минуты редкого покоя. Конечно, она не понимает его. Быть подругой такого человека — высшее счастье, — закончила Балабанова.

Подошла Недригайлова.

Татьяна Ивановна предложила и той зайти к ней.

В передней их встретила Наташа и помогла раздеться.

— Чай, кофе и завтрак, — распорядилась хозяйка и, извинившись перед гостями, прошла на минуту в спальню переодеться.

Милица решительно не знала, о чем ей начать говорить с Недригайловой. Та глядела на нее с улыбкой.

— Как время проводите? Бываете в собрании, на вечерах? — спросила чиновница.

— Нет, — ответила Милица.

— Предпочитаете концерты, театры?

— Напротив, у меня много домашних занятий, воспитание детей...

— У меня тоже есть дети, но это скучная материя вечно возиться с ними; надо же получить долю своего личного счастья. Цель человеческой жизни — уменьшить страдания и увеличить сумму наслаждений, — выложила Недригайлова особенно понравившуюся ей фразу.

— Как она заблуждается! — подумала Милица. Дядюшка Евгений образумливает и просвещает словом истины всех нуждающихся в ней; ей же неудобно поучать эту барыньку. Да и что же я за совершенство! Ей вспомнилось азбучное правило: не выказывай себя ни умнее, ни лучше тех людей, в обществе которых находишься. Есть такие идеи, о которых не должно говорить со всяким из уважения к самим идеям, чтобы не унижать их, хотя истину ничто не может унижить. Но сказано: не бросайте святыни псам. Лишь только избранные сосуды могут вмещать истину.

Вошла Балабанова вместе с Лидией, которую представила дамам.

Увидев Милицу, молодая девушка окаменела на мгновение.

— Вот она где! Ко мне не захотела идти, когда я приглашала ее, — подумала Милица, но ни слова не сказала и виду не подавала, что знает Лидию.

Внесли чай, кофе и блюдо с горячими вафлями.

— Милица Николаевна, Софья Ивановна, пожалуйста к столу, — радушно приглашала хозяйка с милым, непринужденным выражением лица.

После завтрака Балабанова и Недригайлова под каким-то предлогом вышли в другую комнату. Лидия и Милица остались вдвоем. Молодая девушка выглядела все еще грустной, подавленной, но уже не в той острой степени, как прежде.

— Я узнала вас, Милица Николаевна, — сказала Лидия.

— Вы узнаете меня? — повторила Милица, — как же вам здесь живется?

— Ничего, г-жа Балабанова прекрасная женщина и в отношении меня высказывает чисто родственное участие. Маму часто вижу во сне. Она все такая сердитая, нахмуренная, будто бы за что-то недовольна на меня. Вы извините, Милица Николаевна, я будто сквозь сон помню ваше посещение и меня неотступно мучила мысль — не сказала ли я вам чего-нибудь неприятного, — выговорила Лидия.

Милица слегка улыбнулась.

— Вы ничего неприятного не сказали мне, а только с непонятным ребяческим упорством твердили: я не пойду к вам, не хочу. Я тогда видела вас в церкви. Вы много плакали и у меня явилось искреннее желание утешить вас.

— Благодарю, — с чувством прошептала Лидия: — если позволите, я зайду к вам.

Милица назвала свой адрес.

— Татьяна Ивановна, как дела? — спрашивала Недригайлова в другой комнате у Балабановой.

— Все обстоит благополучно: сумела заинтересовать вами. Сегодня вечером будет у меня. Можно вам прийти?

— Скажу мужу, будто моя давно ожидаемая тетя приехала и зовет меня к себе. Не беспокойтесь — поверит, потому что достаточно уже подготовлен мною.

— А вдруг вздумает проследить вас?

— О, нет! Это такая неподвижность, тряпка... Придет из присутствия и сейчас же заляжет спать. Сегодня у них еще какое-то заседание. Кто эта странная особа? — спросила Недригайлова, интересуясь Милицей Затынайкой.

— Племянница миссионера Оболенского, вдова без всяких средств.

— И вы ей покровительствуете? — лукаво встала Недригайлова.

— Пожалуйста — ни слова об этом, дорогая София Ивановна, — ответила хозяйка и вышла в столовую.

— Знаете, Милица Николаевна, я в восторге от вашей Лели. Отпустите ее ко мне на несколько дней, — сказала Балабанова.

— Леля у меня уже учится и ее неудобно отпускать, — нерешительно ответила Милица,

— Ребенку не мешает отдохнуть.

— Я бы еще рада была, если бы кто взял моих детей на время, — подтвердила Недригайлова.

— У вас девочки? — осведомилась Балабанова.

— Два мальчика.

— Мальчиков я не люблю, т. е. не то, что не люблю, а мне как-то тяжело их видеть; они напоминают мне моего сына, — произнесла Балабанова, и тень грусти легла на ее лицо.

— Решительно она милая и симпатичная женщина, несмотря на то, что во многом мы с ней не сходимся, — подумала Милица.

Недригайлова начала прощаться.

— Не забудьте сегодняшнего вечера, — сказала Балабанова.

Милица тоже встала и сказала, что ей пора.

— Не смею удерживать, — отвечала любезно хозяйка; — и прошу также вас пожаловать ко мне. У меня кой-кто

соберется. Прихватите Леличку с собой, — говорила Балабанова.

— Не знаю, Татьяна Ивановна, можно ли будет. Возвратившись домой, засяду за чтение дядиных посланий и не ручаюсь за свое настроение, — отвечала Милица, пожимая ей руку.

Милице и Недригайловой путь лежал в одну сторону. Прежде всего нужно было миновать Большую Васильковскую и Крещатик. Чиновница бросала на многих вызывающие взгляды, останавливалась перед витринами, восхищалась новинками моды и привлекала внимание Милицы.

— Чудная шляпка! — восклицала она. — Ах, как мило одета артистка Х.!

Милица подняла глаза. Они проходили мимо окна магазина, где стояла полуобнаженная женская фигура в корсете, отраженная со всех сторон в зеркальных стеклах в виде приманки, бьющей на инстинкт толпы. Она покраснела за бездушную куклу, в лице которой оскорбляли, по ее мнению, женское достоинство.

Навстречу шли две живые куклы, раскрашенные, в ярких костюмах, с развязными манерами, выдававшими их. Здесь уже действовала сознательная человеческая воля.

Невольный вздох вырвался из груди Милицы: бежать бы скорей от этого Вавилона и всех прелестей его. Ей вспомнился тихий, укромный уголок земли в одной из средних губерний; там среди столетних дубов и лип стоял двухэтажный серый дом с домовою церковью вверх. Святыню вынесли оттуда, так как пастырь отправился в далекие странствования, но Милица чувствовала, что в ней живут мольбы его и слезы, столько лет от сердца лившиеся.

Теперь в том храме пусто и тихо. Неподвижно и строго глядят лики святых угодников, полные неземных дум.

Она желала бы опять очутиться в том уголке, отдохнуть душой после всех жизненных невзгод, суеты. Картины детства, подобно световым эффектам, проносились и мелькали в ее воображении, вызывая невольное сожаление.

— Однако она скучная собеседница, — подумала Недригайлова и переглянулась с каким-то бравым офицером, лихо закрутившим свой ус.

Милица тоже испытывала тоску в обществе бойкой дамочки и собиралась уже сесть на конку, чтобы выйти из неловкого положения, но ее намерению помешал Крамалей.

— Здравствуйте, Милица Николаевна, как поживаете, — сказал он, следуя рядом. — Я, знаете, чувствую себя последнее время не особенно здоровым и гуляю каждый день, несмотря ни на какую погоду. Сегодня что-то в особенности долго затянулась моя прогулка.

Недригайлова окинула лукавым взглядом свою спутницу и ее кавалера, соображая что-то про себя. От нее не ускользнуло то глубокое внимание на выразительном лице Крамалея, с которым он выслушивал слова Милицы, хотя она говорила сущие пустяки, по мнению чиновницы, и, сообразив, что она лишняя, поспешила удалиться.

— Откуда вы, Милица Николаевна? — спросил он.

— Я была в гостях у m-me Балабановой.

Легкие тени омрачили лицо Крамалея.

Погода тоже изменилась к худшему: солнце скрылось за мутными снеговыми облаками, белые пушинки сыпались сверху и кружились звездочками в воздухе.

— Что вы нашли в этой особе интересного? — спрашивал Крамалей.

— Милая, симпатичная женщина. Впрочем, это знакомство совершенно случайное.

— Вы позволите, Милица Николаевна, проводить вас. Я давно искал этого случая, чтобы поговорить с вами, но вы, очевидно, избегаете меня, — говорил Крамалей глубоким, проникновенным, даже слегка дрогнувшим голосом.

Недоумение, замешательство сковали язык Милицы.

— Неужели нельзя избежать тягостного объяснения? — подумала она, нервно сжимая в руках конверт с посылкой отца Евгения, точно в нем ища оплота и защиты. Быстро овладев собою, она взглянула на Крамалея и спросила:

— Что вы хотите мне сказать?

— Вероятно, вам то не ново, или, по крайней мере, вы догадываетесь. Я не перестаю любить вас и сознаю, что никогда мне не вырвать из своей груди этого чувства, — произнес Крамалей.

В душе Милицы поднималась борьба — этот человек любить ее, но что же ей делать, когда в ее сердце нет ответных чувств.

— Припоминая дни своей молодости, — продолжал Крамалей: — нахожу, что я почти не изменился. Душевная дряблость не успела коснуться меня. Я по-прежнему полон энергии, жажды жизни и борьбы с ней. Во мне есть силы необъятные, которые, я чувствую, должен употребить на пользу. Но если вы отвергнете меня, то как орел с подшибленными крыльями, я ничего не в состоянии буду делать. Постыдно впадать в такое малодушие, когда кругом все жаждет боя. Часто я говорю себе: очнись и опомнись; быть может, над тобой смеются; иди своей дорогой, сумей заглушить воспрянувших страстей отжившие мечты, тем более, что тебе ведь отвечают на горячее чувство холодностью одною...

— Я глубоко уважаю вас и сама очень несчастна, что не могу ничего другого прибавить к этому. Смеяться же никогда не позволю себе над тем, чьи заслуги известны всем, кто пользам брата своего обрек и жизнь, и дарования. В этом отыщите дальнейшие силы, потому что они извне не приходят, раз их нет в душе. Не в хартиях она, сказал один философ, — священная струя, что сердца жар отрадно утоляет: из чьей души она не вытекает — того извне не освежит она. Во мне вы не найдете, чего искали, — я не хочу заставлять вас переживать горечь лишних разочарований и прошу меня оставить и забыть, — сказала Милица, останавливаясь на перекрестке, подавая ему руку с самым решительным видом и выражением лица.

Крамалей ей ничего не возразил, молча пожал руку и удалился. Падавший сверху, мелкими звездочками, снежок кропил и охлаждал свежей пылью его пылавший лоб. Он даже было снял шляпу, но, опомнившись, опять надел ее на голову.

Милица также ускорила шаг. Снежок обсыпал ее белой холодной пылью,

Из злополучной фотографии вышел человек в полуко-ротком пальто, надвинутой на глаза меховой шапке и изда-дали последовал за ней. Проводив молодую женщину до калитки, он потоптался немного на одном месте, зашел в лавочку, где купил папирос и разговорился с лавочницей.

Возвратившись домой, Милица разделась и принялась читать письмо миссионера.

«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков! Так древние христиане приветствовали друг друга. Этим же приветствием начну и я, дорогая племянница», писал отец Евгений. «Мы теперь подвигаемся в Китае, куда недавно прибыли. Ранее же находились в Якутской обла-сти, где призвали к православию до пятисот туземцев. Ве-роятно, климатические условия Китая вредно отозвались на моем здоровье: я проболел полтора месяца желтой ли-хорадкой, усиливавшейся тем обстоятельством, что я не лежал в постели и позволял себе выходить на проповедь. Меня сопровождает отец Вениамин, он же служит и пере-водчиком. Жатвы много, а делателей мало; плоды же сата-нинского посева несметны. Нужно препоясаться и ополчить-ся на борьбу с ними. “Не успеете обойти всех городов, как Я прииду во славе своей”, сказал Господь Иисус Христос. Надо бодрствовать и спешить, пользоваться временем вни-мательно, крайне поспешно, не опустительно. Время — это такая драгоценность... Все на свете можно возвратить, но утраченного бесполезно времени никогда. Не прошло еще и минуты, когда я, своей старческой рукой, написал вам последнюю фразу и эта минута была моей, но теперь она не моя, никогда не будет моей и ничто уже не отдаст ее мне!

Даром время не теряйте: Господь спросил, что ты сде-лал, раб ленивый, как провел в юдоли света жизни лучшая лета. Что ответишь, раб лукавый? Пользуйтесь же време-нем внимательно, крайне поспешно, неопустительно!

Должен вам сказать свое мнение, вынесенное из до-вольно продолжительной миссионерской деятельности: об-

ращать на путь истины дикарей и вообще иноземцев несравненно легче и доступнее, нежели наших сектантов и раскольников. Сердца и души первых более раскрыты к восприятию слов Евангельских. Нет того лукавого мудрствования, кичливости и духа сомнения зловредного, что сплошь и рядом я отмечал у отпавших от православия. Особенно приятное воспоминание оставили во мне якуты: они так доверчиво отнеслись к нам, внимательно выслушали откровения, жадно ловили каждое слово.

В глазах этого, ужасающего по наружному виду и странному одеянию народа, я прочитал трогательные чувства, когда они осмыслили и поняли великие догматы христианского учения. Во время проповеди страданий Господа Иисуса Христа не одна слеза скатилась из суровых глаз якутов. Наши слова падали на добрую почву и, кто знает, может быть, в свое время принесут достойные плоды. Мы там заложили церковь, оставили священника на страже, но кроме храма видимого, в сердцах многих воздвигли храм невидимый, духовный, который зиждется не из золота и порфира!

Не то происходило с сектантами на Урале.

В одном месте, так называемая секта духоборов нас хотела избить и с прискорбием, отрясая прах от ног своих, мы удалились из селения их. Всюду встречали дух противления, страстное и упорное отстаивание своих ложных убеждений, любовь к словопрениям. Мудрость истинную презря, они все толковали вкривь и вкось, безбожно, напрасно борясь с врагом истинным, пробовали мы доказывать им всю ложность их заблуждений, но сердца упорных оставались броней одеты и с сожалением отпускали мы их души, отягченные грехами.

Имел недавно известия от отца Парамона. Уведомляет отец Парамон о том, что преосвященный Ефрем, находящийся на покое в Белоградском монастыре, выразил желание приобрести мое имение «Архиерейская роща», предлагая тридцать тысяч рублей.

По зрелом обсуждении, я решил не продавать своей летней резиденции. Деньги быстро разошлись бы у вас в

большом городе, тем более вы, племянница, совсем неопытны в обращении с ними. Итак, извинившись перед преосвященнейшим Ефремом, отписал, что рошу не продаю, а завещаю своим родным. Надеюсь, мое желание вполне совпадает с вашим, Милица. Вы всегда выражали любовь к моему мирному пристанищу; там протекли ваши первые детские годы. Обрящете в ней мир и покой душам вашим, познавая Творца среди природы и непрестанно возносясь мыслями к Нему. Пусть ум и сердца ваших дочерей, предстоящие труды их, успехи, знание наук — все сольется в хор согласный восхвалять Отца создания. Пусть ни одним нестройным гласом слух Его не оскорбится!.. На вас, Милица, лежит трудная задача воспитать своих детей в духе истины и правды.

Бегите от необузданной толпы и дикой пляски вавилонской в тихое, укромное убежище, где шумят вековые дубы и высится построенная мною церковь, на холодных плитах которой я провел в молитве столько дней, ночей бессонных! Видел плач мой сокровенный, борьбу и муки Тот, Кто сам, припадая на вержение камня в саду Гефсиманском, до кровавого пота молился.

У тебя, я также знаю, сердце жаждет мира и покоя. Сохрани же его драгоценным сосудом, вмещающим в себе дары Господни. В больших городах великий соблазн и трудно противостоять ему. Узрев со склона горы Иерусалим, полный блеска, полный шума, Господь Иисус Христос пожалел его и прослезился.

Посылаю вам две книжки душеполезного чтения. Вы пишете, что увлекаетесь английским богословом Фарраром. Недурно пишут и наши соотечественники. Хорошо делаете, что посещаете богословские чтения и собеседования. Подвизайтесь и далее и том же духе, приближаясь к идеалу, выраженному Христом: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. От себя прибавлю, что труден путь и узкие врата ведут человека к достижению совершенства, ибо велика разница между двумя мирами — земли и царства Божия. Это вразумительно из слов того же Господа Иисуса Христа. В беседе с своими апостолами о предте-

че Иоанне Он выразился: из рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя, но меньший в царствии Божием больше его.

По получении известий от отца Парамона немедленно уведомляю вас телеграммой, когда вам выехать. Благословение мое с вами. Евгений Оболенский».

Радостное волнение охватило душу Милицы при чтении этого письма. Как мореплаватель из дали туманной стремится к маяку, так и ее всегдашней мечтой была Архирейская роща. Теперь желание это вскоре должно осуществиться.

Раздумывая о поездке, устройстве жизни, она решила: не идти на званный вечер Балабановой. Настроение молодой женщины резко изменилось.

— Надо скорей писать дяде ответ, когда же нам выезжать в имение. Вероятно, он хочет, чтобы отец Парамон все приготовил к нашему приезду.

Милица присела к столу и занялась шитьем детского белья. Старая Аринушка носила на руках младшую Марусю, которой что-то нездоровилось, и прибаюкивала песенкой.

Зажгли лампу, Милица продолжала сидеть и работать. Волосы ее распались по плечам, щеки разгорелись. Она думала о давно желанном переселении в рощу. Арина забыла опустить шторы, а Милица, поглощенная различного рода соображениями, не замечала этого. Свет от лампы падал прямо на ее лицо. Глаза ее блестели, щеки разгорелись, грудь ровно и свободно дышала. Так иногда дышит птичка, освободившаяся из-под лапы кота.

Двор, где она проживала, вечно стоял с настежь отворенными воротами в силу того обстоятельства, что квартиранты-извозчики часто приезжали и выезжали и потому просили хозяйку не запираť ворот.

Окна квартиры Милицы выходили в палисадник, посаженный тополями и молодой акацией. Сквозь обнаженные деревца все было видно, что делается в комнате.

По двору, пользуясь темнотой, прохаживался господин в пальто, с высоко приподнятым воротником и надвину-

той на глаза меховой шапкой. Это был Крамалей. Он то и дело поглядывал в окно и думал:

— С ней творится что то необычайное, она в ажитации... Как идет румянец к ней и эти распущенные просто по плечам кудри!.. Блеск в глазах и грудь так дышит, будто она волнуется... Губы полуоткрыты и по ним блуждает улыбка... Так вот она сама с собой, очевидно, размышляет о моем предложении и следов аскетизма нет в лице.

— Однако, что со мной? Подобные выходки достойны Зибеля, но мне совсем уж неприличны.

Он сделал нервный жест.

— Пожалуй, кто-нибудь узнает меня. Еще раз взгляну на нее и уйду, — пробормотал он, останавливаясь и заглядывая в окно. — Неволей иль волей, но ты будешь моя, — прошептал он.

Какая-то подозрительная личность, в коротком пальто и башлыке, прошмыгнула мимо, окинув зорким, пристальным взглядом фигуру Крамалея.

— Эге! так вот вы в каких подвигах упражняетесь, мужи мудрости недомыслимой, — не хуже нас, грешных, — подумал Ерофеев (то был он) и остановился за угловой стороной дома, прижавшись тощим корпусом к водосточной трубе, откуда продолжал наблюдать.

Сверху падал мягкий, рыхлый снежок, к ночи все усиливавшийся, покрывая землю белой пеленой и обсыпая мерзлой пылью разгоряченное лицо Крамалея.

Он, сделав несколько шагов назад, опять вернулся к окну, будучи не в силах отойти от соблазнительного зрелища. Проходя вблизи водосточной трубы, в чрезвычайном волнении, Крамалей не заметил потянувшейся в его карман тонкой, худощавой руки с длинными костлявыми пальцами и так же мгновенно выскользнувшей оттуда.

По двору, согнувшись в три погибели, с наброшенным на плечи армячишком, пробежал четырнадцатилетний мальчик, не то сын хозяйки, не то племянник лавочницы.

— Что вам тут надо? — спросил он мимоходом у Крамалея.

— А... извозчика Луку, — отвечал Крамалей, застигнутый врасплох.

— Зачем он вам? — допытывался малый.

— Хочу договорить его, чтобы завтра утром отвез меня в деревню.

— Он приезжает часов в двенадцать ночи, не то еще позднее. Идите в хату к его жене и посидите. Что ж вам тут на холоде стоять! Вишь, снег сыпет, — заключил малый и пробежал к сараю.

Крамалей поспешил к конке.

Там с ним произошел неприятный инцидент: когда он сел в вагон, где уже находилось несколько пассажиров, к нему подошел кондуктор. Крамалей хотел вручить за билет деньги, полез в карман за кошельком и не нашел его. Он осмотрел карманы — кошелька нигде не оказалось.

Кондуктор, в покорно-терпеливом и почтительном ожидании, стоял около него.

— Я его, вероятно, обронил где-нибудь, — произнес он после тщетных поисков и вдруг почему-то переконфузился.

— Не извольте беспокоиться: я из своих внесу, — мягко ответил кондуктор, с умилением глядя на него.

По этой мягкости тона и умильному выражению глаз Крамалей понял, что его инкогнито открыто и это обстоятельство еще больше переконфузило его.

Вагон сделал небольшую остановку. Вошел какой-то оборванный субъект с взъерошенной бородой, опорках на босу ногу и, скрючившись, присел в уголку.

— Деньги, — подступил к нему кондуктор, пощелкивая пальцами.

— Провези задаром, яви божескую милость, только до Княгини на ночлег, — залепетал тот. — Два месяца тифом проболел; теперича острый ревматизм во всех суставах. Третьего дня выписали из Александровской больницы... так на четвереньках полз... ходить нет мочи, — бормотал бедняга.

— Деньги или ступай прочь! — грозно закричал кондуктор. — Много вас, бродяг, шляется! Машина не обязана возить.

— Барин милостивый, — обратился больной к Крамалею, — как выписался из больницы, с той поры ничего не ел; только торговка на Бессарабском базаре подала черствую булку, — и он беспомощно развел руками.

Кондуктор схватил горемыку за шиворот и выбросил вон из вагона.

— Напрасно вы так поступили. Я готов был ему кое-что дать... тут у меня есть часы, — пробормотал Крамалей.

— Э, в-ше п-во! весь мир не нажалеешь, — резонно заметил кондуктор.

Крамалей замолчал; думы роились в его голове.

— Я подниму этот вопрос: для бедного, выздоравливающего люда непременно нужно что-нибудь устроить, так или иначе позаботиться. Выписывается бедняк из больницы; он еще нуждается в уходе и диете, а между тем полная бесприютность, бродячая, собачья жизнь наступает; он опять болеет возвратным тифом и гибнет. Жаль бедняка, хотя в сущности смерть лучше для него. Какая уж там жизнь!.. Однако, как это давеча она выразилась! Великим мужем назвала меня, что пользам брата своего обрек и жизнь, и дарованья... Оно очень лестно, но все не то, не то... Я бы непременно озаботился и придумал что-нибудь такое... на пользу брата, для выздоравливающего люда, но, право, в последнее время голова, как решето: ни одна благодатная идея не задерживается и не находит приложения... В работе нет прежней продуктивности, — совсем ополоумел... Хотя бы взять сегодняшние приключения. Я в молодости ничего подобного не проделывал. Раз только в бурсе в окно выскочил и яблочко в чужом саду нарвал... Помню, еще больно высекали...

— Куда же делся кошелек?... Вероятно, тот мальчишка вытащил, что опрашивал меня во дворе, и пока я гресил... и того — украл. И что думает обо мне кондуктор?..

— Все же Милица была сегодня хороша. Весь аскетизм исчез, в лице разлита нега, что-то теплое, манящее... — размышлял Крамалей.

Ерофеев, почувствовав, что у него мерзнут ноги в дырявых калошах, отправился в ближайший трактир, потребовал бутылку водки и порцию селянки. В то же время, оборотившись спиной к публике и лицом к фонарю, пересчитал свое приобретение, после чего улыбнулся, присел к столу и с аппетитом принялся закусывать.

— Совершенно неожиданный заработок, — бормотал он. — Барыня принесла мне счастье. Надо серьезно приударить за ней, назло Ваньке Скакунову и Витьке Головкову.

— Справлю себе костюм, да и явлюсь к ней с визитом. Небось, не прогонит. Скажу, мол, принес вам, сударыня, карточки. Экая важная барыня — жена офицера, подпоручика там какого-то! Ванька Скакунов у полковницы принять, а мне почему же пути заказаны? Хуже я их? Что я за несчастливец такой! Работаю как дурак. Фотография только на мне одном и выезжает; оно хоть редкие заказы, а все же бывают. Черномор на постели валяется, да водку пьет, Патокин шляется по городу, Федька бренчит на скрышке, про Ваньку и говорить нечего, — один я работник.

— О сегодняшней находке им ни слова, иначе Зубров на водку переведет, — соображал Ерофеев, заканчивая селянку и вставая. Расплатившись с хозяйкой, он в веселом настроении духа отправился домой.

III.

Лидия хозяйничала в буфетной и, от поры до времени, поглядывала на входные двери, ожидая Милицу Николаевну. Девушку неприятно удивило то обстоятельство, что в числе гостей она увидела пана Короткевича, управляющего дома, где она жила ранее. В гостиной сидела Недригайлова и разговаривала с Ферапонтом Григорьевичем. Сап-

рыкин мягкими, вкрадчивыми шагами прохаживался по зале. Несколько человек мужчин засело винтить.

Дамы громко хохотали, рассказывая о недавнем маскараде, так что Лидию покорило от некоторых словечек и выражений. Она недружелюбно посматривала на них.

— Что это за общество? — думала Лидия. — Неужели все себя так держат? Вот уже месяц живу здесь и все никак не могу разобраться в окружающей обстановке и привыкнуть. Я буду просить Милицу Николаевну взять меня к себе, пока приищу другое место.

Появление пана Короткевича особенно неприятно подействовало на Лидию. Только что она принялась перетирать чистым полотенцем стаканы, как к ней подошла Балабанова и сказала:

— Оставьте эти занятия для Алексеевны. С вами желает переговорить пан Короткевич о каких-то важных семейных документах, найденных им случайно в секретном ящике старой сломанной конторки, которую вы бросили на чердаке, как ненужную вещь.

Лидия с удивлением взглянула на нее.

Разговор с паном Короткевичем не предвещал ничего приятного для нее. Самый вид его вызывал со дна ее души отвращение. Находка важных документов заинтересовала ее и девушка решила побороть свою антипатию, выйти и переговорить с ним.

— Нет, знаете, при гостях неудобно вести деловой разговор. Вы пройдите в мой будуар, — сказала Балабанова и провела Лидию в свою комнату, где усадила ее на мягкой кушетке у стола.

На столе стоял поднос с двумя чашками кофе; одна предназначалась для Лидии — другая, очевидно, для пана.

— Отдохните немного, выпейте пока вот эту чашечку, а я скажу пану Короткевичу, чтобы он сюда пришел. Не знаю, может быть, он сел в карты играть, тогда вам придется подождать немного.

— Может быть, дневник мамы там был. Она утеряла один экземпляр. Помню, еще искала. Полячишко, вероятно, прочитал его. Что-то там могла написать мама? — думала Ли-

дия, отпивая медленными глотками кофе, имевшее, как ей показалось, какой-то особенный вкус: несомненно, в нем находилась какая-то примесь не то ванилевой эссенции, не то чего-то другого. Девушка не могла разобрать и попросила Алексеевну налить ей другую чашку,

— Алексеевна, чем это кофе пахнет? — спросила она.

— Решительно ничем, — отвечала старуха. — Это не Мокка, который вы привыкли пить, а так называемый Ява, высший сорт и дороже. Барыня часто меняют сорта.

Лидия уже не слушала ее и думала свое.

— Почему, по мнению Балабановой, неприлично говорить в гостиной, а непременно здесь? Наоборот: здесь я будто бы ищу свидания с ним наедине. Алексеевна, голубушка, вы, пожалуйста, не уходите, пока я буду разговаривать с поляком, — обратилась она к старухе: — иначе я выйду в зал.

Ею вдруг овладела такая лень, томленье, что не хотелось с места двинуться.

— Не все ли равно: здесь или при гостях принять мне Короткевича? — подумала Лидия, пожимая плечами и откидываясь на спинку кушетки.

В комнату вошел пан, почтительно раскланялся и остановился перед девушкой.

С минуту Лидия видела перед собой ненавистную лисью физиономию, красный угреватый нос, рыжие нафабранные усы и лысую, слегка наклоненную голову.

— Что вы там нашли? — спросила она.

Пан сел напротив нее и сказал:

— Да, я нашел кое-что. Собственно, дворник, когда перетаскивал вещи, то сломал ящик и оттуда выпал запечатанный конверт с надписью вашего отца: «Здесь хранятся важные документы. Прошу передать их моей дочери по достижении ею совершеннолетия». Вам, кажется, нет еще двадцати лет. С вашего разрешения я передам их в одну из контор нотариуса; пачку же писем можете теперь получить, — говорил Короткевич.

— Где же?.. Дайте, — сказала Лидия, протягивая руку.

— Я не взял их с собой... Письма остались дома, в моей квартире, — отвечал Короткевич, пристально глядя в лицо девушки.

— Но я хочу сейчас их получить, а на пакет только издали взглянуть, — говорила Лидия, прикладывая руку к лицу. Щеки ее огнем пылали, губы горели. Она жадно отпила несколько глотков воды.

— Прикажете сейчас съездить мне домой и привезти? Я мигом исполню ваше желание. Вы знаете, панна, что я всегда к вашим услугам. Напрасно вы раньше не понимали меня и всегда отталкивали. Если бы вы знали, что я за человек, то верили бы мне. Хотите, панна Лидия, видеть документы и даже прочесть их — едемте ко мне. Оставьте ненужных вам гостей, прокатимся немного, воздух освежит вас.

Лидия широко открытыми глазами смотрела ему в глаза, бессмысленно смеялась и протягивала обе ручки... Пан, наклонившись лысой головой, целовал их и нежно шептал:

— Едем до меня, моя коханочка, там тихо, нема докучных... Зачем тебе вздумалось бежать от меня, поступать на место, в служанки, когда ты могла себе крулевой жить?.. Никуда ты не ушла, моя ясочка... Едем, что ль?

— Едем, — с той же натянутой, бессмысленной улыбкой, будто надетой маской на лицо, отвечала Лидия.

Пан, сдерживая дыхание, точно крадучись, прошел в переднюю, держа Лидию под руку. Девушка сняла с вешалки ротонду Балабановой и хотела накинуть на себя.

— Лидия Игнатьевна, что вы делаете? — останавливала ее Алексеевна, отнимая ротонду: — как можно ехать, не сказавшись барыне! Она рассердится на вас.

Короткевич сунул в руку старухи какую то монету, подал Лидии шубку и сам надел на ее ноги калоши.

— Мое дело сторона, а все же я боюсь, чтобы барыня не рассердилась, — понизила Алексеевна тон. — Когда вы вернетесь?

Но Лидия только бессмысленно глядела на нее и смеялась.

— Куда я еду? кататься? — мелькнуло в отуманенном мозгу девушки. — Да не все ли равно? Все вздор и смех... Кто это сказал?

Как только захлопнулись за ними двери, Балабанова прошла в свою спальню, достала из кармана увесистую пачку кредиток, пересчитала их и, нажав шифоньерку, сунула в ящик, приобщая к другим, уже имевшимся там.

— Расщедрился поляк, даже не ожидала, — проговорила она. — Что с ними церемониться! На днях непременно посету Крамалея, попрошу надбавки и предложу относительно его Милицы испробовать те же решительные меры.

Она вошла в гостиную. На диване сидела Недригайлова с Ферапонтом Григорьевичем. По лицу чиновницы скользила улыбка кокетливой иронии. Видно было, что собеседник ей не нравился, но все же она хотела завлечь его. На лице Сысоенки выражалось уж что-то совсем неопределенное: оно походило на полную улыбающуюся луну; брови каким-то изгибом приподнялись вверх, глаза сощурились, нос сузился, щеки покраснели и лоснились, губы улыбались лукаво. Он то и дело прищелкивал перстами, говорил вполголоса, скрадывая слова, больше междометиями и уж как они понимали друг друга — Аллах ведает!

Окинув всех и все хозяйским, внимательным взглядом, Балабанова подошла к Сапрыкину, помещавшемуся в буфетной.

— Устали, Татьяна Ивановна? — участливо осведомился он, предупредительно подавая ей стул.

— Да, не без того. Наташа, иди в переднюю. Алексеевна, вы мне стакан чаю, — распорядилась она.

— Где же другая старуха? — осведомился Сапрыкин.

— Запила и я прогнала ее вон. Грубить начала невыносимо.

— Как, Татьяна Ивановна, с Затынайкой выгорает дело?

— Она сегодня хотела быть у меня, и, вероятно, что-нибудь помешало. Мы в прекрасных отношениях. Я мало-помалу воздействую на нее.

— Он буквально теряет терпение, меня даже выгнал. Для вас, Татьяна Ивановна, я присмотрел очень хорошенький

домик с постройками во дворе и садом. Попросят тридцать тысяч.

— Посмотрю на днях и, не откладывая в дальний ящик, куплю, — сказала Балабанова. — Сколько денег я переплатила за квартиры — числа нет, а все чужое.

В комнату вошел новый гость, господин лет сорока с лишним, рано облысевший, изношенный, с огромными навывкате глазами, баками вокруг щек, в безукоризненном белье и ловко сшитом платье. Это была довольно известная личность в финансовом мире, некто Крыса, старый холостяк, любящий все эксцентричное.

Он присел рядом с хозяйкой, вынул платок и отер им свое лицо.

— Как живете-можете? — сказала Балабанова.

— Скучаю... Тоска по обыкновению заела, тоска и к тебе пригнала. Сумей разогнать сплин — озолочу, — сказал он. — В клубах скучно, шантанах — тоже, театры мне давно надоели, да и вообще вся комедия жизни. Прикончить бы с собой, что ли?..

— О, что вы, помилуйте! — воскликнула Балабанова. — Кому же тогда жить и пользоваться благами? — Неудачную минуту выбрали приехать ко мне. Сейчас и у меня не развеселитесь.

— Валентинов говорил, что у тебя иногда отводит душу, — Крыса нагнулся и шепнул ей несколько слов...

Балабанова построила серьезную физиономию.

— Обещаешь?... Ладно... Пойти разве перекинуть в картишки. Кстати, вон и Валентинов там, — сказал Крыса и двинулся к игрокам, где его встретили шумными приветствиями и восклицаниями.

Балабанова тоже прошла вслед за гостем и ей вдруг взгрустнулось. Бывало, этими вечерами заправлял Виктор Головков, а теперь, неблагодарный мальчишка, отказался от нее. Неужели она простит ему измену?.. Сумеет ли Алексеевна в точности выполнить ее поручение?.. Пожалуй, старуха подохнет и разболтает все. Простить Головкову она не может, — это выше ее сил.

Также необходимо ускорить развязку между Крамалеем и Затынайкой. Слишком долго тянется эта история и ей уже надоело.

Только с какой стати она будет делиться с Сапрыкиным, когда с ее стороны столько хлопот, труда и материальных затрат. Разве какую-нибудь сотенку-другую выкинет ему по своей сердечной доброте.

IV.

Утром Балабанова, совершив туалет, выехала из дому. Солнце грело по-весеннему и от вчерашнего снега следа не осталось.

Подобрав ротонду, она подошла к роскошному барскому дому и позвонила.

Отворил лакей.

— Встал уже?... — осведомилась Балабанова.

— Кушают уже чай, — ответил слуга.

Полная, с упругим перетянутым станом горничная принесла поднос с чаем, вафлями и лимоном.

— Вот передайте карточку, — сказала Балабанова, испытывая невольное чувство робости, давно незнакомое ей, и, остановившись перед зеркалом, оправила кружево около шеи.

— Пожалуйста, — через минуту возвестил лакей и проводил ее в кабинет.

Татьяна Ивановна вошла и тяжелые двери плотно затворились за ней.

Крамалей сидел за письменным столом. Перед ним лежали какие-то бумаги и стоял только что поданный чай.

— Садитесь, — мягко сказал он Балабановой, указывая на место против себя.

Та опустилась, пышно пораскинувшись складками своего серого шелкового платья.

— Извините, Константин Константинович, что я явилась к вам, но я должна была это сделать ввиду обоюдного интереса порученного мне дела.

Нетерпение отразилось в лице Крамалея. Он встал с места и отошел в глубь комнаты, где остановился, заложа руки в карманы и издали смотрел на Балабанову. В позе его было нечто выжидательное, насторожившееся. Так иногда заяц из-за куста выглядывает охотника.

Балабанова также встала с своего места, подошла к Крамалею и продолжала вполголоса что-то говорить ему. Крамалей отошел еще дальше, точно ужаленный. Балабанова последовала за ним; она все еще что то говорила, понизив голос. Спустя несколько минут Крамалей опять приблизился к письменному столу.

— На днях я покупаю дом и мне крайне нужны деньги, — говорила Балабанова: — и именно недостает обещанной вами суммы.

— Но вы уверены: все так будет?..

— На днях я пришлю за вами, или сама заеду.

Он открыл несгораемую кассу, отсчитал несколько билетов и положил перед Балабановой.

— Мерси, — произнесла та, пряча билеты в ридикюль. — Будьте уверены, я еще никого не обманывала.

Она даже сделала попытку протянуть ему руку, но Крамалей, казалось, не заметил ее жеста, все также величественно, спокойно продолжал стоять в стороне, заложа руки в карманы. Психология его лица, в данный момент, выражала самые разноречивые чувства: он сознавал всю мерзость своего поступка, но все же предпринимал его.

— Жребий брошен, — говорил взгляд его серых, стекло-видных, точно остановившихся глаз.

Балабанову слуга предупредительно проводил на улицу и даже позвал извозчика,

— Ну, действуй, — мысленно ободрила она себя.

— Как я скучала вчера без вас, Милица Николаевна, — начала она, врываясь в квартиру Затынайки: — обещали быть и не заехали, а я уж ждала вас. Все спрашивают, что с

вами, отчего вы такая рассеянная. Очень просто: жду одну особу, — отвечала я любопытным.

— Извините, Татьяна Ивановна, право не было настроения. Получила приятное известие от дяди, нахлынул рой воспоминаний детства, — весело отвечала Милица.

— Должны загладить свою вину. Когда теперь будете? В четверг можно рассчитывать?

Милица, не думая, дала слово.

— Вот прекрасно! — воскликнула Балабанова. — А детки где? Я приехала также на них взглянуть. Это пассия моя. Отпустите ко мне Лелечку на несколько дней. В четверг приедете и возьмете. Лелечка, деточка, хочешь ехать ко мне? — нежно обратилась она к вошедшей в комнату девочке.

— Если мама позволит, — отвечала та.

Милица велела дочери одеться в новое платье.

— Как это мило с вашей стороны! Не обижайтесь, Милица Николаевна, я бы могла помочь вам относительно воспитания детей. Лелечку пора готовить в институт.

— Спасибо за доброе намерение, но я скоро уезжаю в деревню, — отвечала Милица и рассказала ей относительно своих планов.

— Вот как! — подумала Балабанова и сказала, что ей очень жаль расстаться с нею.

— Итак, вы уедете скоро?

— Не очень скоро, Татьяна Ивановна: — письмо к дяде идет целый месяц, если не более, хотя, конечно, он может прислать телеграмму.

Балабанова уехала и увезла с собой Лелю. Милица вышла на крыльцо проводить их и взглянула на дочь, с торжествующим видом усевшуюся в экипаж. Возница взмахнул вожжами и помчался. Маленькая фигурка девочки, в серой шубке, мелькнула светлым пятном в глазах матери последний раз и сердце Милицы вдруг болезненно сжалось и заняло каким-то недобрый предчувствием,

— Куда и зачем отпустила она дочь? К прекрасной, быть может, но все же малознакомой личности.

Опять странное, двойственное чувство овладело ею: Балабанова показалась ей противна с своей навязчивой, приторной любезностью; молодая женщина по-прежнему не могла разобраться в своих ощущениях и приписала свое тяжелое настроение разлуке с дочерью.

Ей сделалось холодно. Она закуталась в платок и присела за работу.

В доме стояла невозмутимая тишина. Аринушка уложила двух младших девочек в постель и сама тоже улеглась на сундуке.

Милица сложила работу, взяла книгу и углубилась в чтение. Ей показалось, что на крыльцо кто-то взошел и затем послышался робкий, неуверенный шорох, будто дергание за ручку двери.

— Кто бы мог быть в такое позднее время? — подумала она: — уже 12-й час ночи. Неужели телеграмма от дяди Евгения?

Она подошла к дверям и спросила:

— Кто там?

— Я, — отвечал робкий голосок.

— Лидия, вы? — удивилась Милица и распахнула двери.

В комнату, шатающейся походкой, вошла Лидия с бледным лицом и блуждающими глазами. На ней была надета теплая кофточка и на голову небрежно наброшен платок; пряди волос выбивались из-за него. Девушка нерешительно остановилась среди комнаты, точно не зная, что ей делать.

— Что с вами? — спросила Милица.

Лидия ничего не ответила ей, только подняла на нее свои большие печальные глаза, вскинула ими как-то странно и, не снимая одежды, села на стул около печи.

Милица тут только заметила, что девушка вся дрожала, как осиновый лист.

— Вам холодно, — сказала она участливо. — Я велю сейчас затопить печку. Моя служанка заснула, но я ее разбужу.

— Не нужно, — ответила Лидия: — мне холодно по другой причине: со мной случилась ужасная вещь.

Челюсти ее задрожали, она не попадала зуб на зуб.

— Я сама не понимаю, что произошло со мной, знаю только одно: что-то ужасное. «Он» мне противен, Милица Николаевна, всегда был противен и теперь более чем когда-либо. Помогите мне разобраться в этих ощущениях. Что теперь думает обо мне бедная мама? Могла ли она предположить, что я способна на такой поступок? Все же я не могу дать себе отчета, точно кто-то другой двигал волею моею.

— Что с вами? Вы бредите? — с испугом спросила Милица, наклоняясь над нею и вглядываясь в бледно-зеленоватое лицо девушки с помутившимся взглядом.

Искаженное отчаянием лицо Лиды, с блуждающей на губах горькой улыбкой не то иронии, не то презрения казалось ужасным. Зрачки глаз расширились, какая-то неопределенная мысль гвоздем засела в них, точно она старалась что-то припомнить, осмыслить, уяснить. Тревожный вопрос крался в них и затем все лицо и губы складывались в скорбную, горькую усмешку недоумения. Вдруг на лицо набегал неопиcуемый ужас и закрывал его мрачными, беспросветными тучами.

— Неужели помешательство? — мелькнуло в голове Милицы и она сказала:

— Разденьтесь и лягте в постель.

— Может быть, Милица Николаевна, я не достойна находиться под вашим кровом, — твердо произнесла Лидия и взглянула на нее своими помутившимися глазами. — Я расскажу вам все и если вы найдете меня недостойной, то прогоните и я сейчас же уйду, — с трогательной покорностью произнесла Лидия. Милице стало жаль ее и она почувствовала, что бы не сделал этот несчастный ребенок, она не найдет для него слов осуждения.

— Что случилось с вами, дитя? — говорите, — воскликнула встревоженная Милица. Она почти насильно раздела Лидию, окутала ее своим большим платком, взяла стул и села рядом с ней.

— У вас ноги в снегу, — сказала она. — Рассказывайте.

— Я хозяйничала около чайного стола Балабановой. Собрались гости и я с неудовольствием заметила в числе их пана Короткевича, управляющего того дома, где я раньше

жила с мамой. Меня неприятно передернуло. Балабанова объявила мне, что Короткевич желает переговорить со мной и передать мне о найденных им в старой, поломанной конторке важных семейных документах. Меня это заинтересовало настолько, что я решила послушать Короткевича и приняла его в будуаре хозяйки. Вы знаете эту комнату, если были у нее. Я села около стола, а он как раз напротив меня, выхоленный такой, бритый, с отвратительной лысиной. Смотрю я на него и думаю: какой противный человек и как я его ненавижу. Он стал передавать мне о находке и вдруг свернул разговор на то, что он меня любит, жить не может без меня. Я слушаю его и чувствую, что во мне что-то переворачивается. Я уже не замечаю, что он противен, и вдруг какая то сверхъестественная сила толкнула меня к нему в объятия. Он предложил мне поехать с ним кататься — и я согласилась. Да, согласилась, вышла в переднюю, надела шубку и уехала. Напрасно меня оставливали старушка, говоря, что Балабанова рассердится. Я не послушала ее. Что было далее, помню как сквозь сон, сон ужасный!..

Сегодня утром я проснулась и увидела рядом с собой отвратительную лысую голову и ненавистное лицо. Вся моя прежняя ненависть вспыхнула. Некоторое время я не могла прийти в себя от удивления и старалась все припомнить. Ужас сковал мои мысли, оледенил мозг. Я точно оцепенела, созерцая его, а он спал тяжелым пьяным сном.

На столе лежал острый нож. Я взяла его в руки, и, движимая ненавистью, отчаянием, перерезала ему горло... Он захрипел, но не проснулся. Кровь брызнула мне на лицо, руки, потом полилась на подушку, оросила постель...

Я вскоре встала, умылась, оделась, заперла за собой комнату и вышла. Некоторое время я бродила по городу, пошла к Балабановой, но она не приняла меня, а выслала через горничную ответ, что вследствие моего поступка принуждена отказать мне от места. После этого я опять бродила по городу, отыскивала квартиру одной знакомой барышни Вари и вместо того явилась к вам.

Теперь вы все знаете. Прежде, чем прогнать меня, скажите, что мне делать. Идти в тюрьму? Что ж, я пойду в тюрьму. Мама предчувствовала, что со мной рано или поздно это все случится, — говорила Лидия и вдруг подняла к свету свои руки, пристально разглядывая их, точно ища на них кровавых следов.

Милица прислонилась к стене, чтобы не упасть, и сама также побледнела, как стена. Некоторое время она ничего не могла выговорить. Мозг точно оцепенел от ужаса, мысль отказывалась работать.

— Так ли это? Не бредит ли еще она? — пронеслось в ее голове.

Лидия продолжала подносить к свету лампы свои руки и этот жест почему-то казался невыносимым Милице.

— Оставьте! — воскликнула она. — Что вы делаете?

— Смотрю, нет ли на них крови, но нет — вся смыта.

— Несчастная, что вы говорите? Неужели все это правда?

— Правда, Милица Николаевна. Я сейчас уйду, — проговорила Лидия: — вам тяжело видеть меня. Какое право имею я причинять вам беспокойство? Пожалуй, еще вас пригласят к допросу... Простите! — спохватилась Лидия и встала.

— Куда же вы пойдете? Стойте! — схватила ее за руки Милица. — Нужно подумать, на что решиться. У меня голова кругом идет. Вы убили того человека?

— Да...

— Вы говорите, что он вам всегда был противен. Как же вы решились с ним ехать?

— Не могу вам объяснить: затмение нашло на меня, околдовал ли кто меня, или быть может, в моей натуре заложены темные, мрачные силы, которых раньше я и сама не подозревала в себе и они-то толкнули меня... Впрочем, я как-то плохо помню все, будто сквозь сон... — говорила Лидия и взялась за голову. Лицо девушки вдруг исказилось какой-то судорожной болью.

— Действительно, в натуре должна быть заложена такая дрянь, чтобы решиться ночью ехать на квартиру к презираемому раньше человеку, — размышляла Милица.

— У меня осталось в памяти одно лишь ощущение, — силилась припомнить Лидия: — будто я летела с неизмеримой высоты в пропасть. Голова моя кружилась, мне было страшно, очень страшно, а внутри меня все смеялось и вопило: жизнь пуста, бесцельна, все вздор и смех!

— Что мне делать с ней? Сказать — иди, отпустить ее в эту темную ночь одну с душевным мраком — бесчеловечно! Если она и сделала дурной поступок, преступление, я не могу выкинуть ее за борт, когда она требует поддержки и участия. Душою все мы рвемся в светлое, дивное небо, а темные, мрачные силы тянут нас вниз. Куда пойдет это бедное, беспомощное дитя искать утешения?

Ей невыносимо сделалось жаль девушку и она решила оставить ее у себя, даже с риском для собственной репутации. Станут меня допрашивать, еще обвинят в сообщничестве и предадут суду, но что кара суда пред совестью судом! Что же касается общественного мнения, то какое ей дело до его фарисейских добродетелей!.. Ей все больнее и больнее становилось за Лидию.

— Вас могут судить и сослать даже, — сказала она, страдая за девушку.

— Короткевича следовало убить. Давеча я клеветала на себя, когда говорила, что в природе моей заложены мрачные, темные силы, подтолкнувшие меня на подобный поступок. Нет, я достаточно себя знаю: никогда бы я не решилась. Короткевич околдовал меня, или загипнотизировал. Недаром он потребовал уединенного разговора, когда можно было при всех сказать. Потом документов вовсе никаких не оказалось.

— Бедное дитя, суд не поверит этому: факт убийства налицо. Надо сходить к присяжному поверенному и посоветоваться, что делать, а теперь поздно. Между тем, вот-вот может нагрянуть полиция и арестовать вас. Подумают, что вы скрываетесь у меня. Ах, как ужасно сложились обстоятельства! Я собиралась уехать в чудный уголок провинции — имение дяди и думала предложить вам.

Она подошла к Лидии, обняла ее, прикрыв своим платком. Горячие слезы обеих женщин смешались вместе.

— Я сама хотела просить вас взять меня к себе. Я была бы бонной ваших детей. Последнее время мне не нравилось у Балабановой.

— Ах, я отпустила к ней свою дочь Лелю и очень жалею... Как же «тот» там лежит зарезанный?

— Лежит в своей комнате. Двери я заперла на ключ. Дворник придет и постучит несколько раз, пока не догадается выломать двери.

— В котором часу?... — спросила Милица, с трудом переводя дыхание.

— Я проснулась в 12 часу дня и вскоре убила его. Дворник видел меня вчера ночью, когда я шла с ним по лестнице. Право, я была в полубессознательном состоянии. Помню, рожки ярко горели и светились, когда я поднималась по лестнице, и смеялись мне в ответ. У них были зеленые глаза, нос и губы... ну, вот как смотреть на полную луну, когда она светит на небе. Кроме того, рожки говорили; здравствуй, Лидия. Как ты себя чувствуешь? Потом они сделались разноцветными: красными, зелеными, синими... Целая гирлянда. Смотрите, они сюда пришли и дворник смеется... Вон стоит у дверей... Милица, прогоните его! — жалобно и беспомощно простонала она.

Щеки Лидии пылали жгучим неровным румянцем, глаза горели, а между тем она не попадала зуб на зуб.

Милица с трудом уложила ее в постель, тепло укрыла, а сама присела у изголовья, обдумывая, что предпринять ей.

— Разбудить Аринушку и послать за доктором? Старуха ночью нигде не добьется толку.

Ехать самой, — нельзя оставить одну Лидию; она может сорваться с постели в бреду, уйти и перепугать ее детей.

Все же она разбудила старушку и с трудом растолковала ей, что следует, дала денег на извозчика и велела немедленно ехать за врачом. Аринушка долгое время не могла опомниться от сна, охала, крестилась, отыскивала одежду, обувь и т. п. Нетерпение Милицы усиливалось.

Бред Лидии становился бессвязнее, отрывистее. Иногда девушка впадала в бессознательное состояние и, казалось,

засыпала, порой дико вскрикивала, делая попытку сорваться с постели.

V.

Утром нагрянули власти в квартиру Милицы. Лидию подвергли допросу, но, видя, что девушка в беспамятстве, отправили в тюремную больницу. Милицу тоже не оставили в покое и потянули к допросу. Она принуждена была давать показания следователю, прокурору.

Дело ой убийстве пана Короткевича рано выплыло наружу благодаря тому обстоятельству, что Лидия ошиблась, думая, будто заперла дверь на ключ. Дворник постучался утром, дернул за ручку, дверь сейчас же поддалась, он вошел в комнату и остановился, как вкопанный. Пан с перерезанным горлом, в затекшей кровью постели, спал тяжелым, мертвым сном. Немедленно он дал знать властям и указал на Лидию.

Милица, с тяжелым чувством, вышла из камеры следователя и, опустив вуаль на лицо, медленно шла к дому Балабановой.

Ей хотелось поскорее увидеть свою дочурку и взять к себе домой. Тайный инстинкт подсказывал ей, что там ее ребенку грозит неведомая опасность... Невольно отыскивалась связь с пострадавшей Лидией, тем более Балабанова так холодно и бессердечно отнеслась к бедной девушке — не приняла ее, когда та приходила к ней. Это положительно не нравилось Милице и наводило ее на целый ряд размышлений.

Балабанова все еще продолжала оставаться для нее загадкой.

— Кто и что она: женщина, закосневшая в фарисейских добродетелях, или... — но здесь мысли ее обрывались и Милице самой становилось страшно... Она позвонила и не очень скоро дождалась, пока ей отворили. Ее встретила

Алексеевна и объявила, что Балабанова выехала и увезла с собой девочку.

— Скоро возвратится? — спросила Милица.

— Не знаю, — отозвалась старушка.

— Куда же она могла поехать с девочкой, не ко мне ли? Или, быть может, одумалась и собралась навестить бедную Лидию; зачем же она Лелю взяла? Во всяком случае, мне это не нравится и в разлуке с ребенком я испытываю одно только беспокойство. Бог знает какие мысли лезут в голову!

Прошел час-другой, Милица все ждала, а Балабанова не являлась. Незаметно подкрался вечер, сумерки сгустились и мрачными тенями окутали комнату. По мере того, как тьма наступала, беспокойство Милицы возрастало. В густых, расплывчатых тенях и таинственном мраке ночи ей чудилось что-то ужасное: в беззвучной тишине пустой комнаты натянутые нервы улавливали будто стон и плач обиженного ребенка, страстный призыв материнской защиты.

Часы пробили одиннадцать ночи.

— Где она может быть в такое позднее время с моим ребенком? — с отчаянием воскликнула Милица, срываясь с места, и бросилась к прислуге, собиравшейся поужинать, с настойчивыми требованиями указать ей местопребывание Балабановой.

— Не может быть, чтобы вы не знали, — строго сказала она Алексеевне.

— В гостях где-нибудь, барыня много имеет знакомых; ничего нет удивительного, что засиделись, — отвечала старуха.

— Мой ребенок не привык так поздно бывать в гостях, но оставим этот разговор, скажите, к кому она поехала, ведь кто-нибудь из вас провожал ее до экипажа и слышал, куда она приказывала везти себя?

— Бабушка, к чему скрывать: барыня ведь поехала к господину Крысе и взяла с собой Леличку. Вчера у нас был сам господин Крыса, разговаривали с барышней и обещали ей подарить игрушки. Так что вы не извольте беспокоиться, — сказала Наташа.

— Вы наверно знаете, что они там? — с трудом вымолвила Милица.

— Ну, да, я же слышала, как Татьяна Ивановна приказывала везти себя на Александровскую улицу, — подтвердила служанка.

Милица поспешно бросилась к выходу.

— Напрасно ты сказала ей, она теперь явится туда и оскандалит, барыня тебя прогонит завтра же, — заметила Алексеевна.

— Пусть гонит, разве свет клином сошелся, — другое место найду, — отвечала Наташа.

Фамилию Крысы Милице доводилось несколько раз слышать, хоть его самого она ни разу не видала и не могла понять, зачем Балабанова к эксцентричному холостяку, человеку с заведомо дурной репутацией, взяла ее дочурку. Она поспешно вышла на улицу, села на первого попавшегося извозчика и велела себя везти на Александровскую улицу. Минут через 20 она уже звонила у подъезда Крысиного дома.

Отворил его слуга-сторож.

— Татьяна Ивановна с маленькой девочкой здесь? — быстро спросила она, не давая ему опомниться.

— Здесь... — замялся тот, стоя на пороге в согбенной выжидательной позе.

Отстранив его жестом, Милица прошла во внутренние комнаты; в столовой она увидела почти идиллическую картину и остановилась на пороге, созерцая ее.

Прошло несколько мгновений, прежде чем ее появление заметил кто-либо.

За длинным столом, устланным скатертью, стоял белый металлический самовар вычурной формы, чайные принадлежности, печенье, конфекты, две бутылки вина и т. п. Балабанова сидела рядом с Лелей, одетой в белое платье и с завитыми волосами, чего дома никогда ей не делали. Ее немало также удивило то обстоятельство, что перед семилетним ребенком, так же, как и перед взрослыми, стояла увесистая рюмка вина. Девочку, очевидно, принуждали выпить, а она отказывалась, встряхивая головкой. Но видно

было, что неустойчивая воля ребенка скоро уступит влиянию старших. Крыса сидел около Лели в полуоборот к двери и, наклонившись к девочке, что-то говорил с улыбкой. В лице его Милица прочла что-то наглое, отталкивающее, дьявольское; — инстинкт подсказал ей, что она вовремя явилась: здесь ее ребенку грозила неминуемая опасность и, быть может, сам Ангел-хранитель спас ее.

— Леличка, одевайся скорее и едем домой, — сказала Милица, с решительным видом подступая к столу, и взяла дочь за руку. Леля радостно улыбнулась

— Милица Николаевна, — вздрогнула от неожиданности Балабанова, и, не теряя присутствия духа, добавила, — позвольте вас познакомить; мой хороший приятель Николай Александрович Крыса.

— Весьма рад, — поднялся уже со своего стула Крыса и протянул руку.

— Я не для знакомства явилась с господином Крысой, а чтобы забрать дочь, которой не место здесь, а время находится в постели три часа тому назад, — ответила Милица.

— Помилуйте, мы хотели доставить ребенку удовольствие, Николай Александрович так любит детей, — отстаивала Балабанова.

— Моя дочь не должна здесь находиться.

— Ах, какая вы странная особа; да что же Николай Александрович, простой человек или проходимец какой-нибудь? его положение в свете, добрые качества души могут только составить честь всякому, кого он пожелает удостоить своего знакомства, — возражала Балабанова с перекосившимся от злости лицом.

Милица вышла в переднюю, одела девочку и поспешила выйти на улицу.

Во время этого объяснения Крыса стоял, облокотившись на спинку кресла, и улыбался иронически-гадкой, дьявольской улыбкой.

Тот самый извозчик, который привез, ожидал ее. Милица уселась в сани и возница двинулся.

— Что ты там, дочурка, делала? — спросила она.

— Татьяна Ивановна повезла меня в гости к дяде и сказала, что он очень добрый, хороший. Мы ужинали у него, потом пили чай. Дядя налил мне рюмку вина и просил, чтобы я выпила, после чего обещал показать всевозможные игрушки, спрятанные у него где-то в отдельной комнате, — рассказывала девочка.

— Что же ты пила? — с тревогой осведомилась мать.

— Да я попробовала и у меня сильно начала кружиться голова, так что я стала отказываться, а дядя Крыса настаивал и уверял, пока я не выпью всей рюмки, до тех пор не покажет мне игрушек — двух будто бы удивительных говорящих кукол. Меня это заинтересовало, я колебалась, вдруг ты пришла, мама, я очень обрадовалась, так что даже не желала уже и видеть говорящих кукол. Дядя купил их исключительно для меня, одну из них я могла бы подарить Зое. Мне очень хотелось обрадовать сестренку, так что я чуть-чуть не выпила вина. Дядя уверял, что вино очень сладкое и хорошее.

— Он тебе не дядя, а гадкий и злой человек! — со слезами на глазах воскликнула Милица и схватила себя за сердце, где ощущала острую, ноющую боль.

Разве можно жить среди этого общества, среди крокодилов, пожирающих друг друга?! У них нет ничего доброго, святого, все маска одна, все ложь и ложь, и как страшно бедному, наивному человеку попасть в их лапы.

Ненасытимая пасть чудовища-зверя беспощадно задавит, сотрет с лица земли и эта темная, наглая сила человеческих страстей искони веков ворочает мир своим ужасным рычагом! Бурлит, кипит, волнуется житейское море, а на его поверхности всплывают крокодилы, ловят невинных жертв и их дымящейся кровью залит развратный свет! О, как душно и больно дышать; теперь ей истина открылась и она поняла, что за женщина Балабанова. Она чуть не вошла с ней в тесные дружеские отношения, доверила ей свою дочь. Дружба и предательство идут рука об руку.

— Теперь я уверена, что Лидия также отравлена — с быстротой молнии пронеслось в ее голове; но как добиться

правды, где искать защиты, когда весь мир лежит во зле? Из кого состоит общество? Из тех же Балабановых, Крыс и т. п. Такие личности, как Евгений Оболенский, единичны, они стоят и выделяются над толпой подобно светильникам, горящим во тьме.

Она подняла вверх лицо к небу, усеянному звездами, ярко и приветно мерцавшими с высоты, точно манившими к себе, человека — гражданина вселенной в его вечное убежище. Мягкая весенняя нежность была уже разлита в воздухе, город, залитый электричеством, шумел, волновался, шла неусыпная погоня за удовольствиями, беготня, суета, окна всех ресторанов, отелей освещены, улицы преисполнены шума, езда экипажей, трамваев — все это сливалось в глухой отдаленный шум, будто рев многотысячного чудовища-зверя. Зверь проснулся, рычал и требовал себе все новых и новых жертв...

Она приехала домой и послала за доктором: с Лелей сделалась рвота.

На другой день доктор явился уже сам и шепотом сообщил Милице о своих наблюдениях и посоветовал обратиться к прокурору.

Девочка лежала в постели и чувствовала сильную головную боль.

— Или, самое лучшее, прежде всего посоветуйтесь с присяжным поверенным, а он уже сумеет вас направить, — сказал врач и даже назвал ей одного, в свое время небезызвестного дельца. — Девочке дана чрезвычайно сильная доза и только рвота от встряхивания в экипаже спасла ее, иначе явились бы все симптомы отравления, что вполне выяснилось медицинскими исследованиями рвотных веществ, — говорил врач.

Милица слушала с побледневшим, расстроенным лицом; она также не спала всю ночь.

Между прочим, она сочла нужным рассказать ему о Лидии.

— О да, да, весьма возможно, — согласился тот. — Вы говорите, она уже в тюремной больнице? непременно пошещу барышню, расспрошу и выведу свои умозаключения.

Может быть, суд изберет меня экспертом и тогда свои выводы могу приобщить к делу, что несомненно послужит если не к полному оправданию, то во всяком случае значительному облегчению участи подсудимой.

Врач уехал.

Милица, все еще расстроенная и подавленная, села около кровати больного ребенка.

— Этого нельзя так оставить: она начнет преследовать Балабанову и негодая-Крысу.

Она содрогнулась от ужаса: опоздай она всего лишь на несколько минут и у ней отняли бы ее ребенка.

Будучи все еще не в силах овладеть своим волнением, она принялась одеваться, чтобы идти к присяжному поверенному, а от него думала пройти в тюремную больницу навестить Лидию.

Только что Милица оделась и вышла из спальни, как в комнату вошел Ерофеев в светлом костюме, жабо и легком, в тон визитке, галстухе, с цилиндром в руке и свертком в другой.

Он имел вполне приличный вид, никто бы не узнал в нем недавнего оборванца; он вежливо откланялся и начал;

— Извините, m-me, в вашей квартире нет звонка и дверь была отворена, почему я позволил себе войти без доклада, — начал он. — При заказе карточек вы сказали расцветить их акварелью и я тогда забыл спросить у вас, какие должно сделать волосы офицеру: светлые или темные? Фотография ваша давнишняя, совершенно выцветшая и ровно ничего не указывает.

— Разве вам так нужна эта справка? — небрежно выронила Милица, сожалея уже, что не отдала своего заказа в другую, с более устоявшейся репутацией, фотографию.

— Иначе я бы не явился, помилуйте, такой конец, — заявил Ерофеев.

— Выбрали неудачное время, я сейчас расстроена и ничего не могу вам сказать, — ответила Милица и, подумав, что навязчивый фронт может опять явиться, а быть может, он и в самом деле человек занятый, переменила свое решение

отослать его ни с чем и сказала: — офицер был блондин и глаза имел голубые.

— Благодарю вас, теперь позвольте еще некоторое замечание относительно колорита лица, — и он открыл свою записную книжку, приготовляясь внести туда.

— Бледный совсем, с легкой желтизной около щек...

— Мерси, больше ничего не надо. Портрет завтра же будет готов. Прикажете принести его, или сами зайдете?

— Пожалуйста, если вы имеете свободное время, я вам дам на конку.

— О, не беспокойтесь! — со смехом отвечал Ерофеев и откланялся, говоря: — до свидания, — причем протянул ей руку.

Милице неловко стало как-то ни с того ни с сего обидеть человека и не дать ему руки; она опомнилась только тогда, когда франт, не выпуская ее руку, сжимал больше, нежели следовало. Она, вспыхнув вся, выдернула ее и хотела уже дерзкому указать на дверь, как вошла Балабанова.

— Господин фотограф, проводите, пожалуйста, эту мегеру! — вся дрожа от негодования и, не помня себя при виде ненавистой женщины, воскликнула Милица, — к сожалению, у нас нет дворника, который мог бы ее выпроводить.

— Милица Николаевна, что такое вы говорите, я пришла объясниться с вами?!

— Вы дадите ваши объяснения прокурору, — отвечала Милица, — да выходите же вон из моей квартиры.

Ерофеев очутился между двух огней; ему хотелось услужить Милице, в тоже время он побаивался вооружить против себя Балабанову.

— Извольте, m-me, — решился он наконец подступить к ней, указывая на дверь.

— Если я нежеланная гостья здесь, то сама найду дорогу, а вас оставляю в обществе этого франта. Так вот почему вы отвергли Крамалея; ну, не завидую вашему выбору, Милица Николаевна, и не могу вас поздравить, — смеялась Балабанова, удаляясь.

— Что она говорит, безумная женщина? — выговорила Милица, стоя посреди комнаты с широко открытыми глазами.

— Чего же другого можно ожидать от этой женщины, — подтвердил Ерофеев.

— Вы знаете ее? — спросила Милица.

— Очень хорошо; угодно, чтобы я рассказал вам о ней?

— Пожалуйста, мне необходимо знать, так как я была знакома с ней, совершенно не подозревая, что она непорочная личность. Садитесь, — сказала Милица, села сама и указала Ерофееву на стул.

Он неторопливо положил сверток на стол, сел и заговорил.

— Она именно та особа, о которой выразился Мефистофель словами; вот женщина, будто нарочно создана быть переметчицей и сводней, — начал Ерофеев и рассказал ей несколько случаев из практики Балабановских операций. Говорил он довольно пространно, смягчая некоторые выражения, что ему с трудом удавалось, так как в своей компании он привык к ним.

Перед Милицей раскинулась сеть лжи, порока и разврата. Точно зловредные газы поднялись со дна клубящей пропасти и отравили ей дыхание своими смрадными волнами.

Ей сделалось страшно, Ерофеев продолжал говорить, посвящая ее все в новые и новые тайны. Касаясь различных поступков, носящих уголовный характер, лицо его оставалось веселым, беспечным, видно было, что все ужасы не смущали его души, он к ним относился более чем снисходительно; некоторые более удачные выходки женщины-крокодила восхищали его, что невольно отпечатывалось на его физиономии, хотя устами он и молвил им слово осуждения.

— Довольно, — остановила она его и встала с места, спохватившись, что сама делает непростительную глупость, разговаривая Бог знает с кем; зачем ей расспрашивать его, разве тайный инстинкт не подсказывал ей давно, что за женщина Балабанова.

— Благодарю вас, мне пора уже выходить, — сказала она.

— Смееу спросить, куда вы направляетесь? может быть, нам по дороге?

— Нет, я к присяжному поверенному Несмеянову.

Ерофеев засмеялся и некоторое время колебался, точно хотел сказать ей что-то.

— Почему же к Несмеянову? вряд ли он может что-либо дельное посоветовать, так как вследствие личных семейных неурядиц всегда озабочен и даже, кажется, прекратил прием посетителей впредь до приведения в порядок своих обстоятельств.

— Все же я буду у Несмеянова, — отвечала Милица, — мне советовали именно к нему обратиться.

— Как угодно, — с этими словами Ерофеев откланялся и вышел, довольный своим визитом.

— С какой стати я разговорилась с ним и что думает теперь этот бесцветный франт? — укоряла себя Милица.

С некоторого времени, с людьми она испытывала все больше и больше затруднений: между ними отсутствовала простота и искренность, трудно было разобраться, кто лжет, кто правду говорит, непрочность, шаткость убеждений встречалась почти у всех, так перепутались понятия о добре и зле. Между тем, все это задернуто флером условных приличий. Ею овладело сильное желание бежать скорей от необузданной толпы и дикой пляски вавилонской.

Но она не может простить женщине, покушавшейся отнять у ней ребенка, выбросит на свет ее темное дело и станет искать защиты у суда. Также и бедную Лидию нужно отстоять во что бы то ни стало. По ее мнению, девушка совсем не виновата!

Она постарается сгруппировать нужные факты для ее оправдания и с ними непременно следует обратиться к дельному и опытному законнику.

С этими мыслями Милица остановилась около квартиры присяжного поверенного Несмеянова и позвонила. В то же самое время к подъезду подошла немолодая, бледная, с нервным лицом женщина в длинной, темной драповой на-

кидке и старой поношенной шляпке; в руке она держала молитвенник в толстом кожаном переплете. Она как-то растерянно, будто с ненавистью, взглянула на Милицу, точно пронзила ее взглядом, и вторично позвонила. Горничная с каким-то испуганным, смятым лицом отворила двери.

— Дома присяжный поверенный? — осведомилась Затынайко.

— Пожалуйте. Через полчаса будут. Они отлучились только лишь в одну из контор нотариуса на Крещатик, — отвечала горничная и проводила Милицу в эффектно обставленную гостиную.

— Готов мне завтрак? — раздражительно в другой комнате спрашивала дама, очевидно, жена Несмеянова; — или он по обыкновению забрал с собой ключи от буфета, а я хоть ложись и умирай с голоду?

— Нет, ключи здесь, — отвечала горничная. — Два яйца есть и больше ничего.

— Так скорее сварь мне кофею и подай в мою комнату.

Она прошла в гостиную.

— Могу ли я сегодня видеть присяжного поверенного? — отнеслась к ней Милица, зная, что служанке нельзя доверять, а долго ждать она не могла, так как беспокоилась о больной девочке, да и Лидию хотела повидать.

— Вы извините меня: я ровно знать ничего не хочу о делах мужа, так как в контрах с ним. У него есть секретарь и служанка, которые могут дать вам нужные объяснения, — ответила дама и вышла.

Милица присела у окна, где стояла небольшая вышитая шелками ширма в японском вкусе, развернула наудачу роскошный альбом с чудными гравюрами, недоумевая между тем, стоит ли ей оставаться здесь, не обратиться ли к другому присяжному. Однако, тот франт-всезнайка и недаром предупреждал меня, подумала она.

Пока она раздумывала, в гостиную опять вошла хозяйка в пестром, турецкой материи капоте, перетянутом кистями, все с тем же бледным нервным лицом и подергивающимися судорогой губами.

Милица заметила у ней под глазами резкие синие пятна, образовавшиеся от нравственных страданий и бессонницы.

— Вы извините меня: не сказала ли я вам чего-нибудь резкого, так как часто сама не знаю, что говорю и делаю. Вследствие ненормально сложившегося образа жизни, неприятностей с мужем, положительно можно ополоуметь; не знаю, как я еще держусь. А ему это на руку, чтобы я выглядела психически расстроенной: он бы тогда запер меня в Кирилловскую больницу и женился на другой, — проговорила Несмеянова.

— Неужели есть такая женщина, что может решиться выйти замуж за него?

— А что ж вы думаете, мало ли жаждущих дев и еще из богатого дома найдется. Он здоров как бык, положение имеет... Первый час уже, а я не завтракала, велела прислуге кофе приготовить — она не подумала. Я отстояла в Михайловском монастыре обедню с акафистом, потом подошла к преосвященнейшему Сергию под благословение и уморилась, еле ногами двигаю. Вон идет и мой благоверный, — сказала она и поспешно бросилась в свою спальню, где замкнулась на замок.

Входные двери с шумом распахнулись и Несмеянов бомбой влетел в сопровождении участкового надзирателя, двух полицейских чинов, Сапрыкина и еще какого-то пожилого господина с пышной шевелюрой.

— Где Тамара Дадьяновна? — кричал присяжный поверенный, стуча кулаком в спальню жены.

— Что тебе нужно? — отвечала та изнутри.

— Отвори!

— Не отворю, — твердо произнесла Несмеянова.

— Жена с любовником заперлась. Ломайте двери, — объявил Несмеянов.

Откуда не взялся дюжий дворник дома с ломом в руках.

— Иван Михайлович, ты сума сошел?! — завопила Тамара Дадьяновна.

— Сейчас увидим. Ломай на мою голову, — кричал Несмеянов. Ты говоришь: «он» входил сюда, сама видала и посто-

янно бывает в мое отсутствие? — обратился он к горничной.

Та утвердительно кивнула головой.

Дверь отбили. На пороге бледная, с блуждающими глазами стояла Тамара Дадиановна.

— Ищите «его», подлеца, в шкафах, комодах, под кроватью, — весь красный и потный кричал Несмеянов.

Сапрыкин приподнял одеяло и заглянул под кровать, оттуда, пыхтя и отдуваясь, вылез Разумник в дешевой, но модной паре, с умышленно рассчитанною небрежностью одетой и смятой. Щеки его были выбриты до лоску, усы лихо закручены.

— Здесь явная измена! Разорву каналью! — кричал Несмеянов. — Какие еще доказательства нужны?

— Подлец! — произнесла Тамара Дадиановна и вышла вон из комнаты.

Милица несколько раз вставала с места и порывалась выйти, чтобы избежать тяжелой, удручающей сцены; проход к дверям загородили зеваки. Наконец, молча отстранив рукой косого полицейского, она поспешила выйти.

— Извините, — бормотал ей вслед Несмеянов, которому горничная шепнула несколько слов; — я не в состоянии сейчас никакого вам дать совета: слишком взволнован. Измена жены — тяжелое дело. Сам нуждаюсь в благоразумном совете.

У подъезда Милица опять столкнулась с Тамарой Дадиановной, одетой в темную шаль и накидку. Она отчаянно ломала руки и бормотала растерянно:

— Оскорбил как нельзя больше, подлец. Нет моих сил выносить. Куда идти? Обобрал кругом, имение продал, драгоценности также и еще подсунил убийственного франта в любовники. Неужели же правды нет на свете?!

— Успокойтесь, одумайтесь, — отвечала Милица, — все это выяснится.

— Но вы верите ли, что тот господин — мой любовник? — как-то отчаянно, с помутившимся взором спросила Несмеянова.

— Достаточно взглянуть на ваше лицо, чтобы не верить этому, — успокоила ее Милица.

— Да, вы правду говорите, я так измучена, страдаю.

— Зайдите ко мне, — просто сказала Милица. Тамара Дадиановна поблагодарила и изъявила согласие.

В маленькой уютной квартире Аринушка все чисто прибрала, ожидая хозяйку. Леля уже играла с сестрой в куклы. Несмеянова остановилась посреди комнаты, не снимая накидки.

— Садитесь, — проговорила Милица. — Хотите чаю?

— Благодарю вас. Я еще не могу одуматься, что мне делать, на что решиться, что предпринять? Неужели он сумеет доказать свою ложь?

Милица вышла на минуту в кухню, чтобы распорядиться относительно самовара, после чего сказала своей гостье:

— Не зная ваших семейных отношений, можно сказать, что вы страдательный элемент и муж ваш нехороший человек. Отчего бы вам не развестись? Ведь жизнь с ним хуже всякой каторги.

— С какой же стати я должна принять на себя грязную сторону дела, позволить добровольно окатить себя ушатом помоев? — воскликнула Тамара Дадиановна. — Он с первых дней супружества обманывал меня, провел все мое состояние и теперь хочет бросить, как выжатый лимон. Нет, я так скоро не сдамся.

— Ах, я тоже несчастна! — сказала Милица: у меня хотели отнять ребенка: — девочку семи лет. Потом, любимая мною девушка лежит больна в тюремной больнице. Она убила человека, похитившего ее доброе имя, и меня так измучили допросы у следователя. Меня подозревают чуть ли не в сообщничестве. Бежать бы отсюда на духовный и физический простор, но трудно вырваться из опутавших сетей.

— Куда бежать? — скорбно повторила Тамара Дадиановна.

— Ах, надо, чтобы непременно было куда убежать всем оскорбленным, обиженным судьбою, где истерзанная, уязвленная душа человека могла бы отдохнуть и возродиться для новой жизни. Сам Христос, сострадая таким людям,

сказал: «приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы».

Тамара Дадиановна задумалась.

Аринушка, накрыв стол белой скатертью, подала самовар, и Милица налила своей гостье первую чашку.

— Вы бы могли осуществить эту идею, — сказала Тамара Дадиановна: — дать приют всем истерзанным, оскорбленным душою женщинам, которым дано от Бога в этом мире страдать и скорбеть. Отереть слезы этих несчастных созданий, вернуть им человеческий образ — великий подвиг и мы ждем такую женщину: она должна явиться и свершить это дело.

— Найдется кто-нибудь сильнее меня, — сказала Милица: — я сама много страдала, притом у меня нет достаточных средств для этого.

— Может быть, я вас стесняю? — спохватилась Несмеянова.

— Нисколько, — весело отозвалась Милица. — Как только мне удастся выручить Лидию, я уеду в имение Архиерейская роща и там отдохну душой. Хотите вы со мной поехать?

— Я? — вздрогнула Тамара Дадиановна: — это уже слишком много с вашей стороны. Если позволите, я пробуду у вас одну-другую недельку, выручу свои вещи, там у меня есть деньги, напишу кое-кому из родных в Тифлис и в конце концов оставлю мужа и поступлю в общину сестер милосердия.

VI.

Наступили последние дни великого поста, а вслед за ними праздники. Солнце грело уже по-весеннему, когда Милица спешною походкой спускалась вниз от базарной площади к тюремному зданию. Тяжелые двери тюрьмы стояли отворены настежь; группа арестантов, в серых куртках и шапках, под конвоем полицейских чинов таскала во внут-

ренный двор кирпичи в тачках, песок и т. п. строительные материалы.

Милица вошла в контору и обратилась к дежурному чиновнику с просьбой о свидании с больной Лидией Осиевской.

Тот посоветовал обратиться к помощнику начальника тюрьмы, расхаживавшему по двору, и даже указал ей на него в окно.

— Мегсі, — произнесла Милица и повернулась, чтобы выйти.

Старая дева, с длинным сумрачным лицом, служащая добрый десяток лет в конторе, подняла голову от переписки, взглянула на нее недоброжелательно и опять воткнула свой длинный нос в бумаги, причем как-то особенно зло заскрипела пером.

Помощник начальника тюрьмы, маленький, кругленький, с одутловатыми румяными щечками, разгуливал по двору, присматривал за работами и острил. Легкая шинель его распахнулась на груди, круглое объемистое брюшко высовывалось наружу. Со звонким грудным смешком он быстро, будто мячик, перекатывался с одного места на другое, напоминая своей маленькой юркой фигурой одну из крыс епископа Гаттона.

Милица принуждена была сделать несколько концов, чтобы поймать его на одном месте, и то удалось ей только благодаря тому обстоятельству, что его обступило несколько человек просителей.

— Стойте, дайте пройти! Что вы меня облепили, как мухи мед? Разве я медовый? — острил помощник начальника тюрьмы, выслушивая просьбы то от одного, то от другого. Маленькие черные глазки его быстро пробегали по сторонам.

— Не говорите все разом, — ничего понять нельзя. Вы мать студента Х.? Прекрасно. А вы к арестанту Z? небось опять табак и водку принесли? Это не допускается, прикажу осмотреть. А вы к тому военному, что Ваську Хрыка избил? Вам что, сударыня, угодно? — обратился он к Милице.

— Больную, Лидию Осиевскую, — отвечала та.

— Как вы изволили сказать? Что-то я не помню такой. К какой категории относится ее преступление?

Милица затруднялась некоторое время ответом.

— Да говорите, за что она сюда попала! Ведь не за добродетели же? — возвысил он голос и взъерошился весь, будто петух на бой. Маленькая фигурка его преисполнилась необыкновенного достоинства и чуть ли не величия.

— Известно, за хорошие дела сюда не попадешь, заметила сермяга. — Хошь и барыня, значит, стоила того!

— От сумы и тюрьмы никто не отказывайся, — вставил следующий посетитель.

— Осиевская числится убийцей, — сказала Милица.

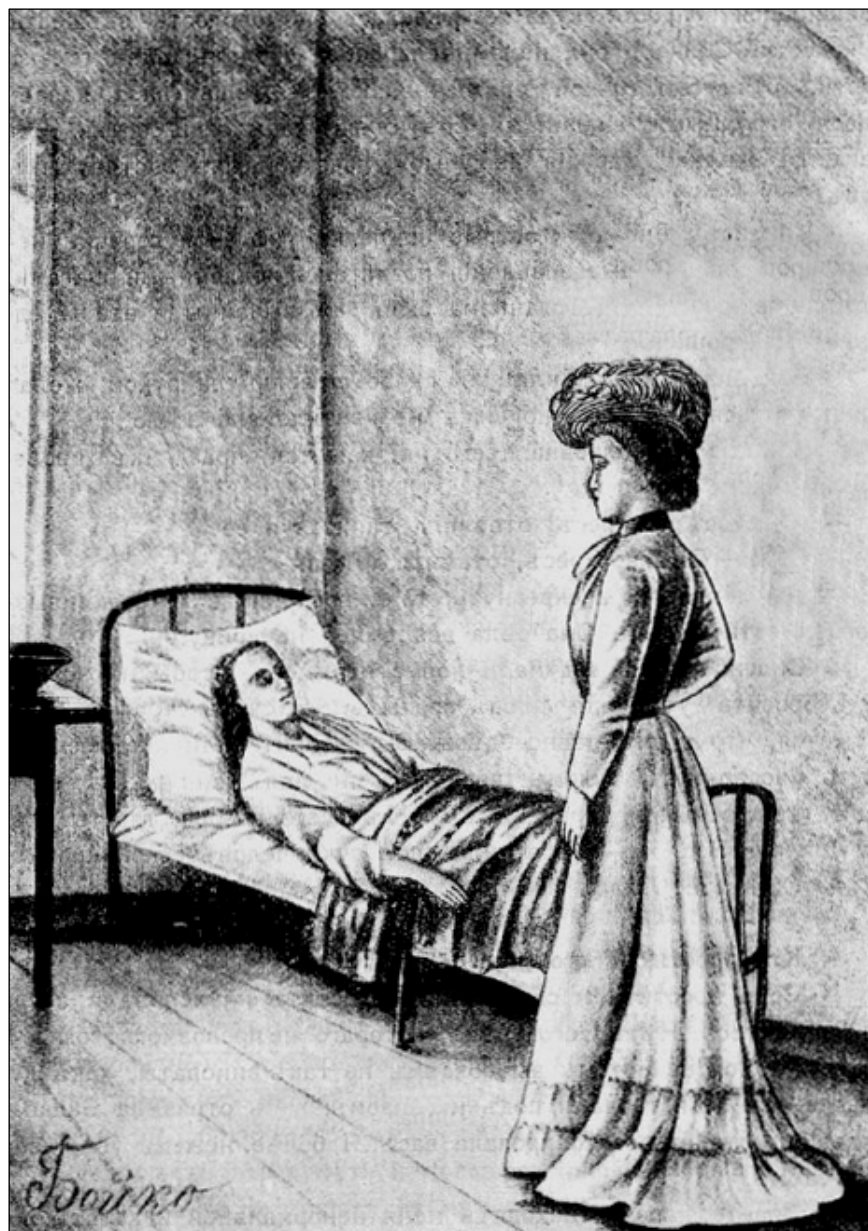
Ей слишком тяжело и невыносимо было это объяснение, в то же время она дала себе слово во что бы то ни стало добиться свидания с больной девушкой.

— Вот оно что!.. — подмигнул одним глазом помощник начальника тюрьмы. — Однако идите все в контору и там ожидайте очереди. Мне сейчас некогда, — перекличка новых арестантов и того гляди, чтобы какая-нибудь шельма не удрала, — распорядился он и поспешил во внутренний двор.

Посетители, вздыхая, поплелись в контору и там расселись по скамьям, ожидая очереди. Милица также вошла в контору, где присела на стул. Старая дева по-прежнему быстро и злобно метнула на нее свой взор.

Наконец, ей разрешили свидание. После мрачных коридоров, переходов, напоминающих лабиринт, Милица в сопровождении надзирательницы поднялась в отдельный корпус больницы.

На длинной железной койке с тюфяком из грубого, толстого полотна, с заплатами во многих местах и такой же подушкой, набитой соломой, лежала бледная, исхудавшая Лидия, протянув руки вдоль туловища. О, какое грустное, душу раздирающее зрелище представляла бедная девушка! Невольно напрашивался вопрос: куда же девалась ее молодость, свежесть и красота? Сейчас она напоминала собой скелет, одни только кости, обтянутые тонкой, прозрачной кожей. Лишь глаза, казавшиеся огромными впади-



нами, светились, как огни со дна оврага, да жалкая пародия на улыбку бескровных растянутых губ.

Кризис миновал, острые припадки тифозной горячки исчезли и процесс выздоровления подвигался медленными шагами; истощение и слабость организма были чрезвычайны и это замедляло выздоровление.

Больная узнала Милицу и слабо шевельнула рукой, желая приподняться и встать, но сил не хватило для этого.

— Милица Николаевна, сегодня, кажется, праздник? — произнесла она.

— Христос воскрес! — отвечала та, целуя ее.

— О, да! Он воскрес, — отвечала Лидия.

— И вы должны воскреснуть, т. е. воспрянуть духом и выздороавливать скорей.

Она села возле нее на койку.

— Спасибо, что вздумали навестить меня, чтобы несколько мне бросить утешения слов святых... Я очень страдаю. Мне кажется, что я уже давно здесь. Вы говорите, Милица, воскреснуть, воспрянуть духом; возможна ли для меня жизнь, если даже присяжные и оправдают, после всего позора, тяготы преступления? Все же я обогрела свои руки человеческой кровью.

— Оставьте, Лидия; все пройдет, все забудется и простится вам..

— Кто простит? кто может простит?

— Бог простит и священник простить на исповеди, когда вы покаетесь. Нет того греха, которого не превозмогло бы милосердие Божие. Потом вы совсем не так виноваты, как думаете; вы действовали под наркозом; вас отравила Балабанова, просто-напросто продала вас. Я более нежели убеждена в этом.

— Знаете: врачи находят меня ненормальной и хотят поместить для испытания в дом умалишенных. Это приводит меня в ужас: мне кажется, я там действительно сойду с ума.

— Я не оставлю вас, буду и туда приходить.

— Вы скоро уедете в свою чудную Архиерейскую рошу.

— Даю вам слово: пока не выяснится ваша судьба — не уеду.

— Но, дорогая моя, до тех пор крокодилы съедят и вас, как съели меня: все отняли: здоровье, доброе имя, красоту...

— Все вернется, весна оживит вас, силы быстро придут, защитник на суде восстановит ваше доброе имя... А там уже в загробной жизни Бог рассудит вас. Может быть, «там» вы простите злодею. Сказано: «Где лань ляжет подле льва и зарезанный встанет и обнимется с убившим его».

— Принесите мне сюда Евангелие; оно будет служить мне утешением, — попросила Лидия.

— Не пора ли окончить беседу? — прервала надзирательница. Милица, простившись с Лидией, вышла из душевного и мрачного тюремного здания на свежий, весенний воздух.

Солнце приветливо грело и мягкая, сочная, еле распустившаяся зелень тешила взор.

VII.

В одном из номеров средней руки отеля, занимаемом Варей Дубининой, развалился на диване в небрежной позе Виктор Головков. Девушка возилась около стола с различными туалетными принадлежностями, чистила поддельные бриллианты, брошки, намереваясь приколоть их к подвенечному платью.

В узком проходе коридора, с черного хода Алексеевна ставила самовар.

— Варя, брось возиться с дрянью. Валентин Петрович подарит тебе настоящие. Ей-ей, он уже мне обещал. Шли мы с ним по Крещатику мимо ювелира, он остановился и говорит: я твоей жене, Витька, хочу сделать подарок, чтобы мила, и указал на серьги и брошь с бриллиантами немного меньше горошины. Сейчас же зашел и купил, сам видал,

как он семьсот рублей за них выложил. Я ведь его в посаженные отцы просил.

— Еще может передумать и подарить какой-нибудь певичке. Подумаешь, что ты женишься на мне только для Валентинова: серьезно, я, Витька, лично хочу для себя немного счастья и требую, чтобы ты исправился и не ухаживал за другими. Я ведь не старая развалина Балабанова, — сказала Варя.

— Вот пустяки, скажите, какие у ней появились идеальные требования; конечно, нам надо постараться совместно накрыть Валентишку, я тоже хочу так жить, как он; курить те же сигары и пить то же вино. Разве я из другой кожи шит?

— Я думала, что ты меня немного любишь: когда мы встречались с тобой у Балабановой, так ты совсем другое говорил, — со слезами в голосе вымолвила Варя и низко наклонила к столу свою голову.

— Вот пустяки, Варичка, лишь бы хорошо жилось, а любовь придет, были бы деньги и вино. Пей токайское вино — в сердце жар вольтет оно, а день или два не поесте, то и святого продасте — говорят малороссы. Оно верно. Ты плачешь, ну стоит ли? я ведь смеюсь, конечно, я тебя люблю, иначе что бы меня заставило с тобой венчаться? Поди сюда, моя крошка, я тебя поцелую.

— Не надо мне Валентиновских миллионов, я хочу, чтобы у меня был верный любящий муж и свой уголок, — сквозь слезы говорила Варя, припадая к его плечу.

— Ну, оставим Валентинова, я Балабаниху оберу, — утешал ее Виктор, лаская.

— Это что еще за новость? каким образом? — спросила изумленная девушка.

— Не твоего ума дело. У меня есть приятели, они помогут. Есть и кинжалы и друзья и ты не ведаешь кто я... — запел молодой человек и прибавил: — что это у меня после горловой болезни голос будто испортился?

— Балабаниха сама тебя со всеми твоими приятелями проведет и выведет, — сказала Варя.

— Ну, да у тебя сильнее кошки зверя нет, а для Григория Карповича Зуброва ничего не представляется невозможным. Мы уже ее, как травленного зайца, отслеживаем. Однако вели своей старой карге нести самовар сюда, да пошли за вином.

Алексеевна подала на стол самовар и стаканы.

— Подите купите вина, — сказала Варя, доставая из ящика деньги.

— Удобная минута, — соображала Алексеевна: — Балабанова давно к ней приставала, даже перестала деньги давать на водку и показываться к ней на глаза не велела, пока Варька и Витька будут здравствовать. Заветная бутылочка припрятана в ее узелке; не подсунуть ли им ее, а на эти деньги купить себе водки и опохмелиться, а то такая тоска на душе залегла, хоть иди и топись. Под ложечкой словно кошки скребут лапами. Она покрутилась немного в комнате, затем спустилась вниз, зашла в винную лавку, купила бутылочку и осушила, взяла еще про запас, спрятала ее в узелок, а оттуда вынула заветное вино, внесла и подала молодым людям.

Виктор откупорил бутылку, налил в стакан и с жадностью отпил несколько глотков.

— Фу, какая гадость, — произнес он.

Варя тоже попробовала и ей не понравилось вино,

— Будем пробовать вино, не прокисло ли оно, — сострил Головков: — да его нет никакой возможности одолеть. На смех, старая, что ли, ты мне его принесла! — разозлился он. — На, попробуй сама, чем оно отдает?

Алексеевна, памятуя приказание Балабановой самой не пить вина, отнекивалась некоторое время.

Это сейчас обратило внимание Головкова.

— Стой, старая, отчего же ты сама не хочешь выпить? Тебя, бывало, медом не корми, а водки дай. Где ты купила это вино? Я пойду сейчас узнаю.

Алексеевна, путаясь и сбиваясь, назвала одну известную фирму.

— Не может быть! Я по этикету вижу, что не там. Говори, иначе убью.

— О чем шумите вы, народные витии? — вскричал Ванька Скакунов, появляясь на пороге в лихо заломанной набекрень шляпе и новом с иголки пальто.

— Да вот послали старую каргу за вином, она черт знает что такое принесла, зелье, что ли, сотворила, чтобы околдовать меня. Признавайся, старая, не то сейчас оболую тебя керосином и сожгу. Такой аутодафе устрою, ведьма! Скорей говори, ведь если я отравлен, так мне надо к доктору бежать. Пей сейчас! Ванька, разжимай ведьме глотку и держи ее, я ей волю. Уж если пропадать, так заодно недобровать и тебе!

— Ой, не губите христианскую душу! — завопила Алексеевна, когда Виктор принялся выполнять свое намерение.

— А, вон оно что! Говори, кто тебя научил.

— Татьяна Ивановна....

— Доктора сюда, доктора, мы отравлены, — кричал Головков, — мне уже дурно!

Скакунов побежал звать доктора и через несколько времени привез его. Сейчас же приняты были нужные меры. Виктору и Варе сделали промывание желудка, после чего доктор искусственным путем произвел рвоту и дал выпить какое-то снадобье.

— Бутылку опечатать и заявить прокурору; яд довольно сильный, — сказал врач. Это был тот самый, что лечил ребенка Милицы.

— Скажите, доктор, останусь я жив? — спросил Виктор.

— Теперь да, благодаря вовремя принятым мерам.

Головков подал ему гонорар и просил пока, до поры до времени, не разглашать тайны.

— Понимаете, семейная история, неравно попадет в печать... Я думаю простить великодушно женщине ее неудавшуюся месть.

Врач не преминул рассказать об отравлении ребенка Милицы, после чего уехал.

— Тебя, ведьма, я арестую, — распорядился Головков: — живой не выйдешь отсюда. Варя, запри ее пока в шкаф. А ты, Ванька, оповести прочую братию, зови сюда Зуброва, Ерошку, Разумника, удобный момент накрыть Балабанову.

Несмотря на протесты Алексеевны, что она может там задохнуться без воздуха, Виктор насильно втиснул ее в шкаф, где висела убогая роскошь Вариных нарядов, и запер его на ключ.

— Смотри, старая, сиди смирно и не чихай, — приказывал он: — здесь через щели достаточный приток воздуха. Вздумаешь кричать — удавлю. Ты хотела отправить меня на тот свет во цвете лет, когда мне еще жизнь не надоела, а я великодушно простил тебе, только требую повиновения и дня три продержу под арестом.

— Водки мне, — пищала из шкафа Алексеевна.

— Хорошо, так и быть, куплю тебе водки, только молчи, — завершил свое великодушие Виктор.

VIII.

Вечером в гостиной Балабановой зажгли свечи в ожидании обычных гостей. Хозяйничала протрезвившаяся Терентьевна. Старуха, после двухмесячного периода пьянства, похудела и имела виноватый вид.

По дороге в клуб завернул было Валентинов, но увидав, что в гостиной сидит одна Анюта, сказал без церемонии:

— Что это у тебя ничего порядочного нет? Ты знаешь, я на днях посаженным отцом буду на свадьбе твоего Виктора. Парень жуликоватый, но мой девиз — сам живи и другим не возбраняй. Я его принял в свою контору и, кажется, приличное жалованье положил, так все ему мало.

— Напрасно. Он может при случае похитить у вас и очень порядочную сумму; вообще этот человек способен на все, — ответила Балабанова, позеленев от злости.

— Ха, ха, у тебя оскорбленное чувство заговорило. Меня невозможно ограбить, — заключил Валентинов и уехал.

— Потому что ты сам чересчур много нагрбил, — бросила ему вслед Балабанова и заломила руки в отчаянии.

— Старая ведьма не сделает того, что я ей приказывала. У них преблагополучно произойдет свадьба, а я не в силах этого перенести, — простонала она.

— Верно, больше никого не будет, — сказала Анюта, зевая.

Совершенно неожиданно приехал Крамалей. Балабанова вышла его встретить.

— У вас?.. — спросил он.

— Ожидаю со дня на день... Прошлый четверг была у меня, я послала к вам нарочного и мне ответили, что вы в каком-то заседании.

— Вы бы могли прислать туда и вызвать меня...

— Извините, не догадалась...

— В другой раз будьте догадливей. Я склонен полагать, что вы, взявши деньги, обманываете меня; я ведь не мальчик вам.

— Помилуйте, смею ли я подумать. Право, обстоятельства складываются так, что я ничуть не виновата.

После этих пререканий Кармалей уехал, Анюта тоже не засиделась у Балабановой.

Мимоходом забежал Сапрыкин.

— Изменила нам с вами фортуна, — сказал он.

— Что нового? — спросила она.

— Вот адвокат Несмеянов разошелся с женой. Слыхали, быть может?

— Что ж с того: она такая бесцветная, неинтересная личность, что ровно ничего не представляет.

— Вашу компаньонку Лидию Осиевскую перевели в дом умалишенных и освободят от суда. Оттуда кто-нибудь возьмет на поруки, да тем и дело кончится. В полиции перемена: новый пристав и помощник очень строгие, придирчивые люди, как раз в вашем участке. Не мешало бы вам с ними заранее познакомиться на всякий случай. Давеча в «Орион» заглянул и такую головоломку прописал...

— Видала я достаточно этого народа на своем веку. А как фамилия нового пристава?

— Мордобитников, а помощника его — Подзатыльников, — отвечал Сапрыкин и прибавил: — как же думаете насчет дома?

— Смотрела, и дом мне очень понравился. Завтра поеду, дам задаток и немедленно приступлю к совершению купчей крепости. Вам же сейчас выдам факторские. Я слышала, вы нуждаетесь с семейством, — сказала Балабанова и вышла в спальню.

В передней раздался резкий звонок.

Терентьевна отворила двери, Сапрыкин также полюбопытствовал и выглянул, но тотчас отпрянул, как ужаленный, от дверей и бросился в спальню хозяйки.

Балабанова в это время стояла около отворенного комода и отсчитывала вторую сотню мелочью.

— Мордобитников с Подзатыльниковым, — отчаянным шепотом заговорил он, наклоняясь к ее уху, и опрометью кинулся к черному ходу. Пальто и шапка его остались в передней, Сапрыкин и не подумал их взять: дай Бог самому уйти целому.

Балабанова побледнела, бросила обратно в комод деньги, мелочь со звоном рассыпалась в ящичке, а сотенную кредитку она судорожно сунула в карман.

Появление полиции в 12 ч. ночи ничего не предвещало хорошего. В зале раздавался звон шпор, откашливание и резкий оклик:

— Эй, сударыня, именем закона, где вы обретаетесь?

Овладев собой, Балабанова вышла к незванным гостям.

— Новый пристав подлежащего моему ведению участка Мордобитников, а это мой помощник Подзатыльников, прочие люди понятые, — отрекомендовался пристав, высокий молодцеватый, с длинными рыжими усами и резким пронзительным взглядом серых глаз навывкате, от которых даже такой опытной, бывалой женщине, как Балабанова, сделалось жутко. — Мой портфель, сударыня, переполнен жалобами и протоколами о ваших противозаконных действиях, — продолжал Мордобитников, встряхивая плечами и выпячивая грудь колесом, после чего выложил на стол внушительного размера портфель.

Подзатыльников, покручивая усы, прошелся по комнате и невзначай взглянул в зеркало. Два рослых полицейских чина стояли у входных дверей.

— Я к вам, сударыня, с дознанием: на вас поступило много жалоб к прокурору и меня прислали для предварительного следствия. Где донесение о проданной в Тегеран девишке Надежде Даниловой? Она задержана на границе с фактором Ривкиным. На допросе она показала, что направлена туда вами. В настоящее время Данилова находится в Батуме, в участке, которым заведует мой родной брат Лука Лукич Мордобитников. Вот, не угодно ли прочесть протокол и что вы имеете возразить против него?

— Никогда ничего подобного не было, — отстаивала себя Балабанова: — клевета по злобе, оговор.

— Подзатыльников, завтра не забудь опросить некоего Сапрыкина, на которого ссылается Ривкин, как на сообщника Балабановой, а через несколько дней я им устрою очную ставку, — проговорил полицейский чиновник и строго взглянул на Балабанову.

— Дело, m-me, ясное до очевидности; Ривкин выдал ваше письмо, в коем вы рекомендуете некоему Мухтарову девицу Данилову. Оно тут же у нас приобщено к делу, — мягко заметил Подзатыльников и покрутил свои удивительные черные усы.

У растерянной и смутившейся Балабановой, как это всегда бывает в сумбуре мыслей, невольно мелькнуло в голове:

— Какой красавец околоточный и я, будто, где-то его видала. Немудрено, что в каком-нибудь наряде...

— Ничего, ничего, — снисходительно вымолвил Мордобитников, — пусть говорит: от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.

— К чему время терять, когда младенцу ясно; m-me, вероятно, не знает, что против нее столько прямых доказательств имеется, — продолжая строчить бумагу, молвил Подзатыльников. — Сознание в этом случае может послужить к облегчению вашей участи, ибо за продажу живого товара грозит каторга. Закон строго преследует.

— Завтра же экстренную телеграмму пошлю брату в Батум, чтобы высылал сюда девицу Данилову и Ривкина, а вас сегодня принужден арестовать и подвергнуть предва-

рительному заключению при тюремном замке, — объявил Мордобитников и вперил в Балабанову острый, пронзительный взгляд.

— Сто рублей, двести... хотите? — сказала та.

— Запиши в протоколе: предлагала взятку, — обратился Мордобитников к Подзатыльникову.

— Пятьсот... тысячу?...

— Постепенно возвышая цену, — диктовал Мордобитников своему помощнику. — Вы слышали? — обратился он к полицейским чинам, стоявшим у двери.

— Точно так, ваше высокородие, — отвечали те.

— Господин пристав, выслушайте меня, не губите бедную женщину, я совсем не так виновата, как меня хотят представить. Данилова ведь не малолетняя, она знала, куда ехала... Кто меня может принудить, если я не хочу, — отчаянно лепетала Балабанова. — Замните это дело, дайте другую окраску...

— Это не в моей власти! — прикрикнул он. — Неужели вы думаете, что я способен продать себя за ничтожную взятку? я ведь чиновник! — грозно кричал он, а лицо его невольно выражало борьбу с алчными инстинктами. — Покончили вы с первым протоколом? — обратился он к помощнику. — Затем, вторичное обвинение г-жи Затынайки в гнусном отравлении ее семилетней дочери Елены. Что вы можете сказать по поводу этого?

— Что это шантаж со стороны Затынайки и больше ничего.

— Дайте-ка сюда врачебное свидетельство и полное признание господина Крысы прокурору. Вам не удалось это преступление благодаря тому обстоятельству, что явилась мать ребенка.

— Тогда Крыса является более ответственным лицом, нежели я, — заметила Балабанова.

— Прошу возражать только по существу дела! — остановил ее Мордобитников. — Ну-с, а теперь отравление Виктора Головкова и Варвары Дубининой — дело тоже ваших рук через посредничество полоумной старухи Александры Кузьминой, которую вы подослали к ним, предварительно

снабдив ядом, с целью помешать их свадьбе. Молодые люди умерли и отправлены для вскрытия в анатомический театр. Кузьмина арестована и содержится в моем участке.

Балабанова зашаталась и чуть не упала, схватившись за край стола.

— Совокупность всех сих преступлений вынуждает меня арестовать вас, — он двинулся к ней.

— Пощадите! половину состояния моего, все заберите, что есть, — воскликнула Балабанова, соображая, что все равно растащат у ней, раз она попадет в тюрьму.

Шатающейся походкой она проследовала в спальню и подошла к комоду с заветной шкатулкой. Пристав шел за ней. Они остались наедине.

— Хотите тридцать тысяч? — глядя ему в глаза, произнесла Балабанова.

— Пятьдесят, тогда я уничтожу протоколы и всем обвинениям сумею придать иную окраску. Понимаете, мне нужно других ублаготворить, — сказал полицейский чиновник.

— Не имею, господин пристав, таких денег. Вот, берите пачку, здесь все мои сбережения, хотела дом покупать, но видно, не суждено.

Она выложила ему всю пачку на руки.

Пристав быстро пересчитал деньги и сунул их в карман.

— Может быть, драгоценности еще какие-либо имеешь? — жадно спросил он, выпячивая глаза.

— Вот брошь, кольцо, — отдавала Балабанова. — Вы мне хоть какую-нибудь гарантию выдайте, что я в безопасности.

— Будь покойна: Данилову я велю запрятать туда, куда Макар и телят не гонял. Со стороны Затынайки дело оставлю так, будто шантаж и ничего больше, еще припугну барыньку. А Виктор Головков с девкой сами перепились, мол, и того... покончили с собой. Мало ли таких случаев бывает и концы в воду. Старуху завтра же выпущу из-под ареста и пришлю к тебе. Я вот сейчас распоряжусь: Подзатыльников, смягчите некоторые выражения в протоколе, а письмо изорвать, — сказал он, выходя в залу. — Сведения о Даниловой можно совсем уничтожить, просто-напросто

скрыть. Головков и метресса, мол, сами спьяна, доказательств никаких нет.

— За деньги, сударыня, все можно обставить в наилучшем виде. Не хотел брать, до сей поры служил честно, верой, правдой, но видно, вам суждено сыграть роль Евы в моей жизни.

— Честь имею кланяться! — Мордобитников, захватив портфель в руку, а другой подтянув на поясе шашку, пристукнул шпорами и вышел в предупредительно растворенные полицейскими чинами двери.

Подзатыльников, проходя мимо ошеломленной Балабановой, двинул слегка своими черными усами и усмехнулся, причем сверкнули удивительной белизны его зубы, и скрылся. За ним последовали и другие блюстители порядка.

Парадный ход некоторое время оставался открытым и никому не пришло в голову затворить его. Холодный ночной воздух вползал в комнату, от веявшего ветра колебалось пламя свечей.

Прижавшись к стене истощенным телом, подобно тени Харона, стояла Терентьевна.

Балабанова, с растерянным лицом, сидела в кресле, подерживая обеими руками голову, и думала свои невеселые думы. Но все же ей служило утешением то обстоятельство, что Виктор мертв.

Острое чувство ревности было удовлетворено. Деньги — дело наживное, утешала она себя.

Из-за кухонной перегородки, где спала кухарка, вылез Сапрыкин и, убедившись, что полицейских чиновников нет, явился в зал.

— Это вы? — сказала Балабанова, очнувшись от оцепенения. — Обобрал кругом, — прибавила она упавшим голосом.

— Кто вас обобрал, Татьяна Ивановна? — изумился Сапрыкин.

— Мордобитников, чтобы скрыть некоторые обвинения против меня.

— Ушам своим не верю, — ударил себя Сапрыкин: — это сама неподкупность.

— Вот подите же, — горько отозвалась та, — все взял, что было скоплено на черный день. Теперь я нищая.

— А те... факторские? — запинаясь, вымолвил он.

Она только безнадежно махнула рукой.

Фигура приспешника изобразила неподдельное отчаяние. Некоторое время он точно окаменел и, не простившись с хозяйкой, убрался подобру-поздорову. Темная весенняя ночь, полная таинственного мрака, глядела в открытые двери.

Балабановой не спалось. Несмотря на жгучее сожаление о потерянном состоянии, она не могла отделаться от назойливого представления в голове мертвой парочки, лежащей в анатомическом театре.

— Взглянуть бы на них, — думалось ей; в особенности она хотела видеть его.

— Все ж я любила тебя, неблагодарный, как никого и ты сам виноват, что так печально кончилась твоя жизнь... — шептала она.

Балабанова не могла уснуть всю ночь и на другой день решила пойти в часовню анатомического театра взглянуть на мертвого Виктора. Она надеялась, что это зрелище послужит бальзамом для ее истерзанного сердца.

Накинув на себя мантилью попроще и платок, она вышла. Странно как-то чувствовала себя Татьяна Ивановна; в душе уже не было прежней самонадеянности и даже острота денежной потери не так удручала. В таком настроении она спешила к длинному серому корпусу анатомического театра.

— Есть ли у него родные, которые могли бы его похоронить? — соображала она. — Право, если бы меня Мордобитников не обобрал, я бы это сделала. Разве поискать сотенку-другую и похоронить его, а там все равно...

По тротуару шло несколько человек студентов. Она хотела обратиться к ним с расспросами и вдруг остолбенела. По мостовой несли экипаж и в нем сидела Варя в подвенечном наряде с букетом цветов в руках, а рядом Виктор во фраке с букетиком флер д'оранжа в петлице. Оба веселые, довольные, как этот ясный весенний день. Судя по

обгоревшим восковым свечам, которые они держали в руках, обряд венчания только что свершился. За ними следовал другой экипаж с дружками, шаферами и один из них напомнил ей вчерашнего ночного посетителя — околоточного Подзатыльника.

Она не верила своим глазам и, в сумбуре нахлынувших мыслей, одна ужасная догадка, пронесшаяся подобно молнии, оледенила мозг.

Прошло несколько лет. Постаревшая и опустившаяся Балабанова все еще живет и теперь на грязной Глубочицкой улице, имеет при себе в услужении тех же двух старух, неразлучных спутниц своей жизни. При случае не отказывается в мутной житейской тине выловить добычу и съутилизировать по-своему. Только круг своей деятельности она перенесла в более низкую сферу: между прислугами, торговками и т. п.

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

КТО ЕЕ УБИЛ

Рассказ

I.

В один ненастный осенний вечер почти беспрерывно лил мелкий холодный дождь, и грязь на улицах, лишенных мостовой, стояла невылазная. Кой-где мерцали фонари.

Их желтое колеблющееся пламя отражалось в лужицах. Воздух, пропитанный сыростью, гнилью и еще какими-то отвратительнейшими миазмами, доносившимися из выгребных ям, казалось, отравлял дыхание.

Прохожие встречались редко; они шли, укрытые плащами или дождевыми зонтами, ахая и проклиная погоду. Небо сумрачное, темное, с тяжелой свинцовой завесой, представляло неиссякаемый источник ливня, как бы угрожая потопом.

По глухому переулку двигались две мужские фигуры выше среднего роста. Они тяжело ступали ногами, обутыми в сапоги с высокими голенищами. На обоих были фуражки из чертовой кожи. Один имел короткое пальто желтого сукна, доходившее ему до колен, какие носят в больницах и тюрьмах.

Этот оранжево-бурый цвет почему-то считается излюбленным между молодцами особого рода киевских сутенеров и хулиганов и составляет как бы их форму, в отличие от прочих.

На другом была надета куртка цвета воронова крыла. Изредка они перебрасывались короткими, отрывистыми фразами.

— Где тот трактир? — спрашивал обладатель пальто.

— Нешто не знаешь Исаева заведения! Ты ему сколько вещей сбывал с теткой Лукерией, — басом ответствовала куртка.

— А, тот самый! С тех пор, как тетка умерла, я разлюбил его. Теперь свободное время провожу на Подоле. Там есть «Встреча друзей», — отвечал другой, у которого голос звучал несколько нежнее и мягче, с оттенком даже какой-то грусти. — А к Исаю как войду, всякая веселость пропадает.

— Как денег нет — везде, брат, невесело, — сумрачно отозвался приятель.

Тусклый блеск фонаря упал на его лицо и на мгновение осветил грубые черты с выражением угрюмой озверелости, сумрачные глаза, черные, будто сросшиеся брови, приплюснутый нос и жесткую растительность около щек и губ.

Они подошли к длинному, старому дому, покосившемуся на один бок, почерневшему от времени. Странное впечатление производило это узкое одноэтажное здание; казалось, людской порок недрился здесь и свил себе прочное гнездо. Под освещенными окнами, в виде приманок, красовались пивные бутылки, бочонок сельдей, поставец с салом, ветчиной и тощей малороссийской колбасой.

За прилавком стоял седой, сухощавый еврей в ермолке на голове и длиннополом лапсердаке.

Тяжелая дверь, с навязанным в виде блока камнем, зарычала и опять подалась назад. Струя свежего, холодного воздуха ворвалась вслед за пришельцами.

Парни потоптались у порога и медленно сняли шапки.

— Чего надо? — спросил трактирщик, сощутив свои подслеповатые глаза и, разглядев гостей, прибавил с ласковой улыбкой младшему: — Что скажешь, Ваня, хорошенького?

— Нам Клим Терентьич Сидоров велел прийти сюда, — ответил старший в куртке, хищническим взглядом окидывая съестные припасы.

— Пройдите в ту комнату, — хозяин указал на двери в столовую или перекусочную: — может, подать вам чего-либо? — прибавил он.

— Денег нет, — развязно заявил первый.

— Денег нет — не беда! Сами вы дорогой народ, — сказал трактирщик. — Ваню я знаю за хорошего человека и поверю в долг.

— Давайте, Исай Мореич, пива, — сказал младший, которого называли Ваней, снимая пальто: — только Бог весть, когда отдам: казны не клал под спуд, недавно из тюрьмы выпустили.

— А мне отпустите фунт копченого сала, ситного хлеба и бутылочку очищенной, — тем же развязным тоном продолжал верзила в куртке.

Исай Мореич искоса взглянул на него.

— Кто ты такой, что-то я тебя не знаю?

— Будто не знаете Михайлу Зайко? Разве вам Борух Мордухович не говорил, сколько я ему золота сгреб за бесценок? Он потом ездил за границу и перепродал. Что Ванька против меня — баба; он курицы не обидит и как дурень в тюрьму попался, а я всегда действую по рассудку.

— Я раз целую дюжину от мала до велика перерезал, — шепотом заговорил он, нагибаясь к самому уху товарища, когда хозяин поставил перед ним требуемое и удалился. — За Гродном еврейская семья жила в хуторе. Забрался я к ней прямо с бегов и начал крошить направо и налево. Служанка там у них русская жила, так я и ее полоснул заодно; на том свете пускай разбирают. Двухлетнее дите проснулось и закричало, а я его будто цыпленка пырнул ножом в горло.

Денег шестьсот целковых нашел у них и закатил в Москву. То-то хорошо жилось, вовек не забуду! Где я только не был!.. За деньги тебе всюду почет и уважение. Помню, поехал я в тياتер и двух мамзелей пригласил; они, братец ты мой, чуть не подрались за меня.

Опосля приехал в Киев, и здесь мне не везет. Не знаю, что еще Клим Терентьич скажет, — говорил парень, закусывая хлебом и салом.

Ваня медленными глотками тянул пиво и, казалось, мало слушал товарища. Раза два он болезненно поморщился, провел рукой по лбу и опять задумался.

— Нет, стой, приятель! Был у меня тож один удачливый случай на контрактах. Остался я без копейки денег. Что было, спустил в карты. Малость покутил. День не ем, — другой тошно стало. Пошел я на контракты, авось клюнет что-

нибудь. Хожу, смотрю, толкаюсь между народом. Идет навстречу барин пожилых лет под руку с дамой; я за ними следую издали. Барышня что-то купила, а он начал расплачиваться; бумажник, гляжу, туго набитый и спрятал он его в боковой карман, только не сюртука, а шубы. Поворотили они к выходу, — я за ними побежал вперед. Напротив, что морская волна, — прет толпа народа. Я за народом прямо барину навстречу и так ловко засунул ему руку в карман под шубу, что он не заметил, выхватил бумажник, да скорей давай Бог ноги. Прибежал в пустую усадьбу, развернул, а там три сотни радужными с мелочью. Я сейчас в трактир. Водки, коньяку себе заказал. Уж я пил, уж я ел... Не житье, а масляница пошла.

Молодец прикончил сало и потянулся за пивом.

— Да что ты, Ваня, все хмуришься?

— Так... скучно что-то, — отвечал Иван. — Ты вот рассказываешь, как обобрал барина и тебе весело стало. Когда-то и меня это радовало, а теперь не до того. Посидел в тюрьме и много передумал и сдается мне, что я уже не тот, чем прежде был. Все мне опостылело. Хожу, двигаюсь и сам не знаю, зачем это делаю. Замышляет что-то Шкуренко и зовет меня. Я иду, а самому все тошно. Может быть, если бы достал денег, пошел бы странствовать по свету. Скучно по тетке, что не своей смертью она померла; хотел обидчику ее мстить, да уж Бог ему судья. Уйти мне надо отсюда, только куда же я от самого себя уйду, — с горькой улыбкой заключил Иван и блуждающим взглядом оглядел кругом себя.

Старший парень пристально посмотрел на него.

— Слышь, Ваня, выкинь ты всю дурь из головы, или ты нам не товарищ. Куда же тебе идти на убийство, когда ты ног под собой не слышишь?.. А вот и сам Клим Терентьич.

Вошел человек лет сорока с рыжей клинышкой бородкой, в армяке, с барашковой шапкой в руках. Он опасливо оглянулся по сторонам и приблизился к столу, за которым сидели парни.

— Добрый вечер, господа, — сказал он. — А, вы уже закусывали? — прибавил он: — может, задолжали, то могу вызволить. Выпьем немного в компании, да и к Степану

Андреичу; он назначил ровно в семь быть у него. Говорите, что любите из напитков? Водочку? Хорошо, можно.

Клим Терентьич постучал о стол пустой бутылкой.

Исай Мореич предстал немедленно.

— Хозяин, убогаторите мне молодцов: дайте сюда водочки, винца и закусить чего-нибудь... индеечки жареной, что ли.

— Индейка есть, — подтвердил Исай Мореич.

— Прекрасно. Вот получите за должок с них, — он вынул десятирублевую кредитку, медленно покрутил ею на свет и вручил трактирщику, озабоченно говоря: — разглядите — не фальшивая ли? Сам только что получил.

Исай Мореич ловким движением подхватил ее и унес; вскоре явился его сынишка с желанными яствами и поставила их на столе.

Старший парень, Михайло Зайко, жадно накинудся на водку, съестное и мигом повеселел. Клим Терентьич прихлебывал из рюмочки сладенькое винцо и наблюдал за обоими приятелями, точно взвешивая и оценивая каждого по достоинству.

— Что вы, Иван Иванович, мало кушаете? Не стесняйтесь, пожалуйста. Я еще поставлю. У нас хватит, — с вкрадчивой лаской обратился Клим к младшему.

— Спасибо, не беспокойтесь о нас, — отвечал тот.

— Он по тетке грустит. Она его воспитала, вместо матери была и вот, в то время, когда он сидел в тюремном заточении — умерла неизвестно от каких причин. Кто говорит, будто ее сожитель побил, а другие — сама отравилась, — отвечствовал за приятеля Зайко, уписывая самую жирную часть индейки.

— И могилы ее никак не могу найти, — сказал Иван, обращаясь к рыжебородому, точно ища сочувствия.

— Грустное событие, — сочувственно подтвердил Клим.

— Станем пить и гулять, станем деньги менять, а как смерть придет, тогда будем помирать, — выложил свое credo Зайко.

— Кушайте, братцы, да и того... пора к Степану Андреичу, — проговорил Клим Терентьич, поглядев на свои серебра-

ные часы. — Придется взять извозчика, погода скверная. Только как мы втроем усядемся?

Иван Босяков и Михайло Зайко принадлежали к типу так называемых киевских подкальвателей. Оба они были без «роду и племени», хорошо прошли школу уличной жизни. Ивана, впрочем, кое-как воспитала тетка, служившая поначалу в кухарках; потом женщина спилась с кругу и поступила в сожительницы к какому-то босяку, который ее свел в могилу.

Парень иногда работал в слесарной мастерской, но большею частью находился без определенных занятий. Время обыкновенно проводил в компании воров, бродяг и т. п., судился за кражи и даже высидел полтора года в тюрьме. Отбыв наказание, Босяков опять принимался за прежнее ремесло.

Впрочем, молодой человек иногда действовал не по собственной инициативе, а лишь служил послушным орудием в руках более опытных людей; они ворочали им, как пешкой, и загребали жар чужими руками, причем львиная доля барышей оставалась у них. Натуре этого *lazzaroni*, несмотря на кажущиеся противоречия, было присуще мягкосердие; может быть, женское воспитание невольно сказывалось в нем. За дурное слово, обиду Иван вспыхнет на мгновение, выхватит нож, но руки его еще не были обагрены кровью. Зато в области воровских проделок он не имел соперников.

Михайло Зайко родился в семье чигиринского казака и рано отбился от дому. Сначала он ходил с косою по степи, но вскоре работа приелась ему. Зайко слышал, что в больших городах живет вольготней людям, попытал счастья в Одессе, Новгороде и др.; наконец, уже всесветным бродягой попал он в Киев и здесь нашел обширное поле для приложения своих способностей.

Случалось, что он записывался в конторы, нанимался к господам в дворники, лакеи, ловко обкрадывал их при помощи сподручных людей, а сам всегда оставался в стороне и даже не одно душегубство насчитывал на своей совести.

Случайно, в одной веселой компании, он встретился с Иваном Босяковым и принял его под свое покровительство.

II.

За городом, в гористой местности, быстро выросла и образовалась новая улица, именуемая Макарьевской. Там в ряд, точно грибы после дождя, выстроились новые домики. Один из них, в значительном отдалении от соседей, крытый железом, обращал на себя невольное внимание прохожего законченностью и тщательностью отделки.

Извозчик остановился около ворот этого дома. Три кудлатых пса с лаем выскочили из подворотни и бросились на прибывших. Клим Терентьич расплатился с извозчиком и отпустил его.

Дождь на время перестал; небо по-прежнему оставалось хмурым, неприветливым. Дождевые облака сплошным покровом залегли и нависли над землей.

Дверь маленького домика скрипнула: на пороге, с фонарем в руках, появилась молодая девушка с доенкой в руках, прикрытой полотенцем, а за ней полнотелый приземистый старичок с белой бородой и острым, как бритва, взглядом.

— Кто здесь?... А, дорогие гости, пожалуйста, — приветствовал он, расплываясь добродушной улыбкой гостеприимства. — Отчего запоздали?

— Нельзя было: молодцы — народ несговорчивый, трудно с ними ладить.

— Здравствуй, Ваня. Как поживаешь, сынок? — и он ввел гостей сначала в переднюю, небольшую комнатку, где стоял кованый железом сундук, крытый ковром.

Здесь гости сбрасывали с себя верхнее платье, вытерли ноги о соломенный половик, лежавший у порога. Клим Терентьич вынул из кармана маленький металлический гребешок и поправил бороду, после чего все трое вступили

во вторую комнату, служащую, очевидно, приемной. Та оказалась довольно просторной и нарядной: около стены, близко ко входным дверям, помещался массивный дубовый шкаф с стеклянной дверцей, где стояла посуда и множество увесистых банок с вареньем из всевозможных ягод: крыжовника, вишен, райских яблочек и проч., а также бутылки с наливками.

Около противоположной стены находился диван, обитый турецкой материей, круглый стол, застланный плюшевой скатертью, и два серебряных подсвечника на нем. На дверях в спальню висели тяжелые портьеры. На окнах цветы. Одним словом, обстановка вполне приличная и даже комфортабельная.

Хозяин выглядел изнеженным, выхоленным; особенно поражали его руки: белые, пухлые, со множеством колец и перстней с изумрудами, бирюзой и другими камнями. Шелковая сорочка, с повязанным вокруг шеи галстуком, застегивалась золотыми запонками. Сюртук настоящего английского сукна, на ногах мягкие, удобные туфли.

Лампа-молния, под зеленым абажуром, лила мягкий, ласкающий свет. В углу стояла этажерка с множеством книг смешанного содержания — светских и религиозных. Между религиозными находились: Библия, жития некоторых святых, разрозненный том «Потерянного рая» Мильтона, и наряду с этим «Тарас Черномор», «Стенька Разин» и другие.

На стене висело несколько картин в приличных багетовых рамах.

— Присаживайтесь, — говорил выхоленный старичок: — сейчас выйдет супружница. Степанида Гавриловна, подите сюда! — крикнул он.

Из спальни послышался будто прыжок с мягкой постели и, покачиваясь на толстых ножках, утицей выплыла рыхлая, дородная старушка в косынке на голове и чесучовой кофточке. По ее белому, пухлому лицу скользила добродушная улыбка сытого довольства.

Клим Терентьич встал при ее входе.

— Здравствуйте, куманек и ты, Ваня, а вашего имени, отчества, извините, не знаю, — ласково обратилась она к Зайку.

Тот пробормотал ей что-то. Комфорт и кажущееся богатство старичков действовали на него подавляющим образом, возбуждая не то удивление, не то зависть.

— Сейчас самоварчик подадут. Прислуга наша пошла корову доить, — сказала хозяйка.

— Давно приобрели коровку-то? — спросил Клим Терентьич.

— На прошлой ярмарке купили. Базар далеко, не каждый день ходим, прислугу посылать тоже неудобно. Корова во дворе — харч на столе. Я люблю, чтобы у меня утром к чаю были свежие сливки. Оно и для желудка полезно. Старуха моя славно готовит крем, — грешный человек, люблю. Тут на своей усадьбе свободно разводи сколько хочешь живности: кур, гусей. Это не то, что на квартире, где хозяин тебе указывает.

— Ваша правда. Мне вот горе с ребятишками: никак подходящей квартиры не сыщешь; там не пускают, или претензию изъявляют, что пищат, беспокойство соседям, — там поломали или разбили что-нибудь, — и Клим Терентьич развел руками.

— Н-да, протянул Шкуренко: — надо стремиться к собственности, обзавестись своим участком земли где-либо в окрестностях Киева, Никольской Слободке, или Святошине.

— И рад бы в рай, да грехи не пускают, — ответил Клим Терентьич.

— Пустяки! Всякий человек сам кузнец своего счастья, — заключил выхоленный старичок и погладил себе длинную седую бороду, причем испытующим взглядом посмотрел на обоих молодых людей.

Иван сидел в мягком кресле, обитом красной турецкой материей, со скучающим выражением лица, очевидно, занятый своими мыслями.

Зато Михайло жадно ловил каждое слово старика, упивался им и в тоже время оглядывал обстановку, сопоставляя в своей голове какие-то комбинации.

Та же девушка, которую гости встретили при входе, внесла самовар и поставила его на особом табурете, после чего достала из буфета посуду, сдобные булки домашнего печения и пр.

— Марфуша, убери еще столик для закуски, разогрей поросенка, достань из погреба огурчиков, яблочек, грибков соленых, водочки, расставь все аккуратно, как барин любит, — обратилась старушка к служанке. — А сюда подай мне варенье и бутылку рябиновой наливки для панычей.

Девушка быстро повернулась и явилась с требуемым.

— Отпусти ее на вечеринку к Сидоровым. Она, кажется, хотела посмотреть свадьбу, — сказал старик жене с многозначительным взглядом.

Служанка скрылась. Старик пошел вслед за ней, притворил двери и возвратился к гостям.

Степанида Гавриловна разливала чай.

— Кушайте, господа. Ванюша, клади себе в стакан варенья, не стесняйся, голубчик: ты когда-то любил так чай пить. И вы, кавалер, не церемоньтесь, может быть, наливочку больше уподобаете.

— Спасибо, — пробормотал Зайко, заполняя стакан наполовину вином.

— Кушайте, господа, а там о деле поговорим, — заметил старик.

— О деле можно и теперь говорить, — подхватил Клим Терентьич, откусывая кусочек сахара.

— С вами, кум, мы, слава тебе, Господи, не первый год знакомы и понимаем друг друга, а вот эти молодцы — народ новый, непосвященный. Ваню я знаю с хорошей стороны; он одно время ловко и умело доставлял мне различные безделушки, и я хорошо платил ему. Обижал я тебя когда-нибудь, Ваня? — спросил старик.

— Нет, я вами доволен, — отвечал Иван.

— Видите, — сказал Шкуренко, обращаясь к Михаилу Зайко. — Я люблю по совести действовать. Зачем человека

обижать?— Это грешно. В священном писании сказано: не желай ближнему своему того, чего себе не желаешь.

— Вы им, кум, объяснили суть дела? — спросил старик у Клима: — согласились они?

— Ну да, иначе бы не пришли сюда, у нас свидание деловое, я не люблю на ветер говорить слова. Итак, вам известно, что мы собираемся лишить жизни старую барыню, чтобы завладеть ее капиталом. Сумма крупная и похлопотать стоит. Живет она одиноко и все деньги держит при себе в пятипроцентных выигрышных билетах; я уже давно слежу за этой госпожой, и у меня имеются к тому справки. Слуг у ней двое: кухарка и дворник; но они спят в нижнем этаже, а она наверху одна в целом доме.

Я вам покажу все ходы и выходы. Нужно из сада по лестнице взобраться к окну, выставить или отворить раму и того... На все, братцы, нужна сноровка, уменье...

— Оно так-то, так, да дело трудное... А вдруг барыня подымет крик, соберется народ и схватят тебя, раба Божия? — заметил Зайко.

Старик пожал плечами, как бы устраниаясь.

— Зачем же так действовать, господа, чтобы попасться! Надо все взвесить и бить наверняка. Дворника один мой знакомый человек отзовет в трактир и продержит там сколько надо. Во дворе есть лестница, которую надо подставить к окну, выждать, пока старуха заснет, и лезть. Ваня мастер на это.

— Извольте, с нашим удовольствием влезу, отворю окно, только бить барыню не буду, — поспешно заявил Иван.

— Я ворога своего лютого собирался убить, да и то рука не подымается.

— С барыней прикончу я, мне плевать, — вставил Михайло и зверски-внушительная физиономия его подтверждала, что слово его не разойдется с делом.

— Что ж ты, Ваня, больно жалостлив стал?

— Не до жалости мне, а тошно... Все опротивело на свете. Забежал бы на край света, куда глаза глядят, — отвечал тот.

— Выпей водочки — веселей станет, — отечески-заботливо ответил старик.

Иван потянулся к графину, налил себе рюмку и залпом выпил.

— Ты вот жалеешь эту ничего не стоящую старушонку, а скажи, кто тебя пожалеет?... Сидел ты в тюрьме: навестил ли тебя кто-нибудь?... Нет, не стоит, брат, по совести жить: от трудов праведных не наживешь палат каменных.

— Бог с ней! Не стану пачкать рук, — с брезгливостью отозвался Босяков.

— Без тебя мы, пожалуй, не обойдемся. Миша один не справится, если кухарка еще проснется.

— Плевать с бабами, а вот как насчет караула: там, быть может, постовой городской близко.

— Недалеко ходит, да это ничего. В комнату быстро вскочишь, схватишь, — у ней и голосу не хватит закричать, а там можно сделать все, что угодно. Клим Терентьич будет по улице ходить и в случае чего знак нам подаст.

— Это можно, — подтвердил кум.

— Ваше дело чистое, Ванька совсем устраняется, вся ответственность, в случае чего, падает на одного меня, а потому прикиньте мне, дяденька, за работу, — вставил Зайко.

— Не могу, братец! Хочешь — берись, хочешь нет, твоя воля. Я другого найду, больше двух тысяч не будет, — отвечивал старик: — и то деньги, на мостовой их не найдешь. Убьешь барыню — там твое уж дело поискать у ней ценных вещей.

— Что будешь с вами делать! — сказал Зайко.

Они ударили по рукам, после чего еще некоторое время обсуждали различные детали предполагаемого убийства.

Говорили совершенно спокойно и серьезно, точно обсуждали важный семейный вопрос. Старик, игравший роль председателя, имел вид патриарха.

У Клима жадно искрились крысиные глазки. Он то и дело поглаживал рукой свою узкую рыжую бородку,

Степанида Гавриловна отсутствовала во время разговора мужчин. Она возлежала в своей спальне на мягкой, пышно взбитой постели с горой пуховых подушек, прикрыв

ноги теплым шелковым одеялом. На маленьком ночном столике стояло блюдо с засахаренными вишнями и чашка чаю. Она медленными глотками отпивала из нее и закусывала ягодами. Изредка к ней доносились отрывистые фразы из разговора мужа и гостей.

Старуха охала и крестилась на большой образ Богоматери, перед которым горела лампада.

Окончив разговор, Степан Шкуренко пригласил гостей закусить, налил по рюмке водки и чокнулся со всеми за успех предприятия и в заключение рассказал свою биографию, как бы в назидание.

— Роду я хорошего, купеческого; родители мои жили в воронежской губернии, занимались конопляной торговлей и держали свой магазинчик. Я был у них единственный сын. В одну ночь огонь истребил все наше имущество. Глянул отец на другой день кругом себя — голо, пусто везде, только груды угля, да как зарыдает, тут же с ним случился апоплексический удар и он помер. Матушка тоже долго не зажила. Остался я один на белом свете. Нанимали меня купцы к себе в приказчики — я не захотел. Продал свое последнее достояние — кусок земли, где стоял наш домишко, за двести рублей и с этими деньгами приехал в Киев. Вскоре я их прожил и остался без гроша. Ни кола у меня, ни двора, ни гусяного пера не было, а теперь, видите, всего довольно; дом — полная чаша, ни в чем себе не отказываю — ешь, пей моя душа, — веселись. А как вы думаете, я дошел до этого: работой, что ль? — И он презрительно махнул рукой. — Пробовал я, дурень, дрова таскать с баржи, кирпичи, спину свою гнул под тяжестью, что любой вол, пока не напал на свою планиду... Здесь мне повезло счастье. Одно вам скажу, господа: не стоит с людьми жить по совести, — с умиленным видом заключил Степан Андреевич и налил себе маленькую рюмочку винца. — Жаль мне вас, ребятки, продолжал он: — сам изведал горе и знаю, каково оно. Ежели удастся наше дело — получите деньги и заживете барами. Сподручные мне люди никогда не остаются в обиде. Только не стоит жить по совести. Да и где

она нынче совесть! — заключил философ и оглянулся кругом себя.

III.

Доротея Карловна Паулус, небольшого роста старушка, суежилась без устали с самого раннего утра; она бегала то в сад, то в кухню или дворницкую и всюду зорко оглядывала разные хозяйственные вещи. Вдруг обнаружилось, что у водопроводного крана один винтик расшатался и ослабел. Доротея Карловна вся нервно вздрогнула, вспыхнула до корня своих когда-то пышных волос, однако, скрепя сердце, не разразилась потоками бранных слов, а лишь ограничилась на этот раз тихим брюзжанием.

— Ну и народец! Зови слесаря и чини!.. Все деньги, везде деньги. Недавно только внесла в городскую управу налог за дом, а там, гляди, рамы пришли в ветхость: так и дребезжат, когда к ним прикоснутся; того гляди, что стекла сами повысыпятся.

Она все собиралась их переделать: ей страстно хотелось устроить рамы с прочными и тяжелыми задвижками, да день за день откладывала. Доротея Карловна не отказалась бы соорудить и железные решетки, если бы это было принято, — безопаснее как-то; по этой причине она завидовала даже арестантам,

— Кто их тронет, — рассуждала она: — а у меня, Боже, какая ветошь. Сорок семь лет уже стукнуло этим рамам... Да, да, ей не изменяет память: впервые их сделали тогда, когда за нее сватался красивый драгунский поручик Эрнест Паулус, которому она так охотно отдала руку и сердце. В замужестве, однако, она прожила недолго — всего около двух лет. Эрнест, добрый и хороший муж, в общем серьезно прихрамывал: чересчур любил мотать деньги и под конец так было принялся расточать ее приданое, что если бы пожил больше, то, наверное, сделал бы ее нищей. Поэтому вышло кстати, что он рано убрался на тот свет. Пре-

мудрый Создатель знал характер кутилы и не дал ему веку. А как нынче ей жаль пропущенных тысяч! Она — молодая, неопытная, не умела управлять легкомысленным Эрнестом. Детей у них не осталось, чему в глубине души Доротея Карловна несказанно радовалась.

— Все лишний расход, говорила она: — а человеку и без того трудно жить: каждый шаг сопряжен с расходом.

И вот целые годы она изо дня в день усердно копила деньги, давая под драгоценные вещи займы кое-кому. В свой большой дом и флигель во дворе она ранее пускала жильцов; в последние годы почему-то стала всех бояться и, наконец, объявила, что квартир у нее не будет; флигель продала на снос, а весь свой большой дом сама занимала. Когда ее кто-либо спрашивал о причине такого уединения, она с удовольствием поясняла:

— Стара я и хочу покоя себе. Неужели я не вправе им пользоваться? Мне уже за седьмой десяток перевалило, а с квартирантами только сердце болит: там тебе не платят, здесь — сломали или испортили.

Иногда Паулус по вечерам зажигала на несколько часов огня, запиралась крепко-накрепко в своей комнате и тщательно считала деньги, любуясь магическим блеском золота и трепетно наслаждаясь звоном его. Алчная старуха переживала тогда высокие подъемы в своей душе; под сморщенной, землистого цвета кожей ее лба пробегали тогда целыми вереницами жизнерадостные мысли, крайне удивительные по своему разнообразию, и ей неудержимо хотелось копить все больше и больше. Странности Паулус простирались до того, что она иногда, замкнув дом и в особенности свое святилище — спальню, ходила по городу с мешочком и собирала кусочки железа, обрезки материй и т. п. Из собранных таким образом лоскутов она подчас делала куклы, зайчики и потом продавала. Питалась она скудно, лишь бы только не умереть с голоду; в церковь никогда не ходила, только от поры до времени читала молитвы по своей книжке в тяжелом кожаном переплете с перламутровыми застежками. Нищие никогда не знали дороги к ее дому: Доротея Карловна не любила подавать ми-

лостыни и обыкновенно приходила в истое отчаяние, когда у нее кто-либо просил денег. Каждый день старушка энергично хлопотала; когда же ей случалось чрезмерно устать, то время отдыха она любила проводить в своем большом саду, опускающемся крутым обрывом у самого конца, на северо-восточной стороне. В саду росли чудные яблоки, груши. Время от времени старушка даже позволяла себе разоряться на такую прихоть, как покупка двух-трех фруктовых деревьев.

Сегодня она уже посадила три груши и рассадил черную смородину, для чего в помощь дворнику Сосфену даже приняла поденщика. Старушка с раннего утра не отходила от батраков, заставляя их почти непрерывно там и сям подрезать не в меру широкие ветви, счистить бугорок или местами подсыпать земли.

— Сосфен, кто это ходил у нас по саду? — Смотри, вот следы, — резким, крикливым голосом спрашивала Паулус, тряся седой головой и быстро ковыляя по дорожке в коротком, будто полумужском пальто.

— Кто там будет бегать? Разве кошки да собаки, — отозвался флегматично Сосфен, не отрываясь от грабель и медленно, как бы нехотя, собирая в кучу осенний лист.

— Человеческие следы... Вот отчетливо сапог виден, а здесь даже ясный отпечаток подковок и гвоздей. Да что ты там мне будешь рассказывать...

— Барыня, где вы? столяр пришел, — сказала кухарка, пожилая женщина, появляясь в саду с засученными рукавами.

Паулус поспешно удалилась во двор, бросив попутно несколько укоризненных слов в сторону дворника и успев сделать распоряжение о перемене места цепному псу, сильно одряхлевшему в последние годы.

— Ну и чудачка же ваша барыня! В первый раз такую вижу, — вставил поденщик, поднимая потное загорелое лицо и скручивая папироску.

— Она у нас всегда такая, — ответил Сосфен.

— Небось, заморочит за целый день голову. Идем сегодня в монополию.

— Некогда, да и она тогда со свету сживет, — не соглашался дворник.

— Ну?!

Поденщик присел на корточки, достал кусок хлеба, колбасы и принялся аппетитно закусывать.

— А у меня тут под руками и крючок водки есть, — промолвил он: — как бы это нам выпить? Не принесете ли рюмочку?

Сосфен оглянулся и увидал перед собою водку; лицо его широко осклабилось, а под ложечкой что-то вдруг засосало. Он быстро сходил в свою мрачную, сырую комнатку и принес оттуда маленький стаканчик.

— Вы — столяр; где же ваш инструмент? — спрашивала между тем Паулус, оглядывая острым взглядом молодого парня в куртке и барашковой шапке.

— Нешто мы каждый раз носим его с собой! Вы присылали к Сметанину сказать, что вам нужно новые рамы сделать, хозяин прислал меня договориться и снять мерку, — отвечал тот. Это был Михайло Зайко.

— А вы от Сметанина?

— Точно так.

— Хорошо, иди в комнаты. Аграфена, и ты со мной. Сюда, — сказала старушка и поднялась вверх по лестнице.

Парень, тяжело ступая, следовал за ней. Крутая ли лестница и быстрый подъем по ней вызвали аномалии в сердце старушки, или ей так уж крайне не понравилась физиономия парня-столяра — она решительно не могла дать себе отчета, но только сердце все чаще и чаще стучало и так трепетно ныло. Взойдя на площадку, она оглянулась еще раз на парня и сказала:

— Да, вы, быть может, дорого возьмете?

— Это как будет угодно вашей милости. Вы не обидите нас.

Последняя фраза понравилась старушке и m-me Паулус впустила его в свою комнату.

— Пока только в этой спальне сделаете две рамы, а остальные по весне, — в раздумьи произнесла она и невольно потупила взор. Но вот старушка глянула сбоку на челове-

ка, уже усердно снимавшего с рам мерку и, как казалось, всецело поглощенного этой работой. Вдруг что-то толкнуло ее в грудь и она почувствовала сильный припадок сердцебиения.

— Аграфена, капель мне скорей валериановых!.. Мне дурно, дурно!.. — невнятно говорила старуха. — Иди, голубчик, не надо рам, после... после, — замахала она руками на парня.

Тот стоял и не двигался.

— Барыне дурно, уходите, — пояснила кухарка, очевидно, изучившая до тонкостей все привычки своей причудливой госпожи.

— Прощайте, — многозначительно произнес мастеровой и вышел.

Аграфена проводила его черным ходом.

— Ах, какая эфиопская рожа! Удивительная рожа. Я будто его где-то видела. Никого не принимать от Сметанина, — сделала она распоряжение.

Старушка приступила к обеду, состоящему из микроскопической порции манной каши, причем и ту еще разделила с белой кошкой в цветном ошейнике.

Сумерки быстро надвинулись. Паулус прошлась по двору, расплатилась с поденным, горячо поспорив с ним по поводу полустертого двугривенника. М-ме Паулус доказывала его действительность, а рабочий не соглашался его принять, так как разглядел в нем дыру, залепленную оловом. Наконец, победы осталась за Доротеей Карловной.

— С ней сам сатана уморился бы говорить, — нахмутив лоб, грубо буркнул поденщик в сторону дворника и, резко изменив тон, произнес: — Что ж, дядя, идем в гостиницу?

— Пускай заснет хозяйка, — она в 9 часов ложится всегда, — отвечал Сосфен, очевидно, сгорая, желанием освежить прогулкой свою затхлую жизнь, и продолжал: — постучи ко мне в девятом часу, только не очень сильно, чтобы она не услышала.

Они расстались. Свечерело.

Аграфена зажгла единственную лампу в спальне Доротей Карловны и, получив инструкции на завтрашний день,

удалилась к себе в кухню.

Паулус раскрыла приходо-расходную книгу и отметила там кой-что. Спустя некоторое время она взяла из массивного комода колоду карт далеко не первой свежести, таинственно пошептала и разложила. Как нарочно, ей падала все черная масть — пиковый туз и пиковая дама.

— Что такое? громадная неприятность и будто смерть, — рассуждала она вслух сама с собою.

В белом чепце на седой голове и в капоте Паулус сама напоминала пиковую даму.

Часы глухо и мерно пробили полночь.

— Ого! Когда же со мной случилось, чтобы я так долго засиживалась, — подумала старуха, сложила карты, прочитала короткую молитву и начала укладываться в постель. Она сбросила с ног теплые сапожки, которые постоянно носила зимой и летом, погасила лампаду и прилегла.

Старушке не спалось. Она долго ворочалась с боку на бок: тяжелое, щемящее чувство властно захватило ее душу, по временам струйка панического ужаса, казалось, насквозь пронизывала ее. Наконец, она забылась, но и во сне кошмары преследовали ее и нарушали обычный покой. Вдруг ее разбудил какой-то неопределенный шум. Будто звон разбитого стекла коснулся ее слуха. Старуха в ужасе проснулась, но скоро успокоилась и подумала: не кошка ли вспрыгнула на стол и не разбила ли она зеркала, и только что хотела чиркнуть спичкой, как ветхая рама шумно упала на пол. Прошло несколько мучительных мгновений — в комнату чрез окошко ворвалось несколько человек. Паулус принялась неистово кричать и искать в темноте кнопку электрического звонка, но разбойники набросились на нее и сдавили ей горло. Один из них зажег спичку и осмотрелся. Огонь на минуту осветил его широкое обрюзгшее лицо и полуобезумевшая от страху старуха узнала в нем мастера от Сметанина; он завесил окно тяжелой шторой из зеленой материи, другой — зажег ее лампу.

Душегубов оказалось трое: — Степан Шкуренко, Босяков и Зайко. Все действия их поражали не только быстротою и

ловкостью, но во всем носили также отпечаток строгой обдуманности.

Лишь только лампа успела осветить комнату, как Зайко бросился на старушку и принялся ее душить. Она билась, хрипела в руках злодея.

— Живуча, как кошка, — произнес Зайко и, схватив из кармана кистень, ударил ее по голове раз, другой.

Брызнула кровь и старуха уже не дышала, прикрытая небрежно одеялом.

— Есть ли тут в умывальнике вода? А то весь опачкался гадостью, — произнес элодей, спокойно умылся и вытер лицо полотенцем.

Шкуренко, давно отыскавший под подушкой связку ключей, уже хозяйничал в сундуке и ящиках массивного комода. Кое-что он откладывал в отдельный узел, другое же бросал прямо на пол. К немалому его удивлению, ему часто попадались под руки какие-то удивительные мешочки и ридикюли, аккуратно перевязанные. Вор жадно набрасывался на них и терпеливо распаковывал, но к его досаде, они оказывались набитыми обрезками материй или разными корнями трав.

— Фу ты, чертова ведьма! — выругался он, отирая крупные капли пота, и принялся вновь работать с удвоенной энергией.

Скоро заветная шкатулка с банковыми билетами перешла в особый узелок, где уже лежало несколько золотых и бриллиантовых вещей. — Михайло Зайко также не дремал. Один только Иван Босяков стоял среди комнаты с блуждающей улыбкой и словно ничего не видел, не понимал, что вокруг него творится.

— Ванька, текай вперед. Гляди, не принял бы кто лестницы от окна. Придержи ее, когда полезет старый! — командовал Зайко и тот послушно бросился вперед.

— Дядя, не пройтись ли нам по комнатам? Небось, и там есть какое-либо добро, — жадно шепнул Михайло.

— Нет, все добро ее здесь. Довольно! Надо спешить.

Старик взобрался на стол и чрез окно стал осторожно спускаться по лестнице. За ним вскоре вылез и парень.

Иван осторожно принял лестницу на прежнее место и все трое скоро спускались по косогору, находящемуся уже за усадьбой. Только собака, чуя неладное, полаяла немного и вновь стихла.

Сосфен всю ночь кутил напропалую с новым знакомым и возвратился домой чуть ли не с рассветом.

Наутро Аграфена, удивленная, что так долго нет от барыни обычного звонка, пошла наверх, сама постучалась в дверь спальни, подождала минуту, другую, но ответа никакого не было. Она быстро спустилась с лестницы, растолкала заспанного дворника и вместе они прошли в сад, чтобы взглянуть в окно.

Когда Сосфен приставил лестницу, кое-как вскарабкался и заглянул в комнату, — он с ужасом отпрянул назад от окна: сундук стоял открытым, много вещей поразбросано, а барыня лежала на постели согнувшись, причем верхняя часть ее туловища была покрыта одеялом, а ноги и руки, окостенев, неподвижно торчали.

Спустившись с лестницы, Сосфен побежал в полицию заявить о случившемся.

Скоро в квартире Паулус производилось уже следствие, с товарищем прокурора во главе, но все данные по этому делу мало осветили следы убийц.

Вопрос, — кто ее убил? и поныне остается пока открытым.

МАЕВКА

Рассказ

I.

— Максим, скорей неси мою зимнюю шинель в ломбард! — закричал капитан Урчаев, проснувшись в один прекрасный майский день в десятом часу утра.

— Слушаю-с, отозвался из передней голос Максима, сопровождаемый усердным шуршанием сапожной щетки.

— Проси пятьдесят рублей, а если не дадут, то пусть сами оценят, потом зайди к Дытынковскому, купи бутылку водки, три бутылки вина, столько же шампанского, черной икры, сельдей, гарниру к ним, ветчины и в кондитерской Жоржа возьми коробку шоколадных конфет фунтов в пять. Понял?

— Точно так, — ответил Максим, денщик Урчаева, белобрысый полешук, несколько меланхоличного характера, и появился с вычищенными до глянца сапогами, которые симметрично поставил около кровати.

Урчаев вскочил с постели, надел красные, вышитые туфли на босую ногу, прошелся по комнате, мимоходом взглянув на себя в круглое походное зеркало.

Капитан был довольно высокого роста, статного телосложения, с приятной округлостью форм; имел большие, черные, пушистые усы; бороду брил.

— Поворачивайся скорей, а Семен пусть мне дает самовар и того... нужно еще барышням письмо нести.

— Мне прикажете? — спросил денщик, отыскивавший на дне сундука капитанскую шинель.

— Болван! как же ты с вещью пойдешь к ним? понесет Семен; только прежде пусть даст умыться и самовар.

— Сей минутой.

Схватив шинель в охапку, Максим удалился, а на смену ему явился с самоваром Семен, рябой брюнет, угрюмый на вид, в красной кумачовой рубаше, перетянутой в талии ремненным поясом.

Напившись чаю и пропустив рюмку-другую водки, капитан приступил к составлению письма, предварительно пославши денщика в мелочную лавочку за почтовой бумагой и конвертами.

«Прелестнейшая Надежда Петровна», — так начиналось письмо, — «позволяю себе думать, что вы не откажетесь отпраздновать с нами май месяц в скромной дружеской пирушке. Съезд сегодня на берегу Днепра в 5 часов пополудни. Нас будет трое: Сапфиров, Барков и ваш покорнейший слуга. Желательно, чтобы в пирушке приняли участие две несравненные грации, ваши сестрицы, с которыми вы меня познакомили. Гг. Сапфиров и Барков — джентльмены в полном смысле этого слова и к дамам особенно учтивы. Итак, в приятном ожидании пяти часов пополудни, примите уверение и проч.». Сделав на конверте надпись «г-же Зориной» и заклеив розовой облаткой, он велел денщику отнести его, причем довольно пространно пояснил адрес, так как Семена посылал в первый раз; обыкновенно подобные поручения выполнял Максим.

— Козинка, № 0. Три сестры спросишь.

— Слушаю-с, — мрачно отвечал Семен. Он ожидал, что капитан в виде прогонов ссудит ему гривенник на конку, за который он мог бы опохмелиться, что рассеяло бы его несколько угнетенное настроение духа.

— Сегодня майский праздник. Недурно было бы с кумой Агафьей отправиться в Кадетскую рощу на гулянье, да ведь бабе нужно угощение поставить: бутылка водки, пара пива, закусить чего-нибудь, — глядь, на худой конец, рублишко и вылетит.

Вот денщик г-д Шпаковых пригласил в лагерь девушек, так рубля на три купил закусок. Свое удовольствие господа знают справлять, а до людского им дела нет, — издыхай хоть, как собака, пальцем не двинут. Лишь бы им все было

подано и прибрано. Не дадут ли, пожалуй, на чай те стрекозы? — соображал он.

Одевшись и захватив в руки фуражку, Семен с ожесточением сплюнул и вышел на улицу. А капитан, закулив папиросу, вытянулся на диване и развернул утреннюю газету.

Вяло и нехотя шел Семен. Попадались ему навстречу знакомые кухарки, возвращавшиеся с базара, с корзинами, одни и с хозяйками; но он мало обращал на них внимания. Вот какой-то молодой человек пронес две бутылки вина, завернутые в красную бумагу. Семен сумрачным взглядом проводил его.

— Эх, жисть! — размышлял денщик; — все спешат куда-то, суетятся, радуются; один ты маешься, как неприкаянный.

Отыскав большой четырехэтажный дом, он спросил стоявшего у ворот дворника;

— Укажите мне квартиру барышень Зориных... Их три сестры.

— Таких сестер нет у нас. Зорина снимает квартиру и от себя пускает жилищ. Иди наверх, в 40-й номер, — ответил дворник.

Семен поднялся на третий этаж по каменной винтообразной лестнице. В длинном, узком коридоре с разноцветными стеклами служанка подметала пол. Он осведомился у ней, можно ли ему видеть барышню Зорину.

— Давай, я передам... Барышня еще в постели, — отвечала та.

— Просили ответ, — отвечал Семен, вручая письмо, и опустился на близ стоявший табурет.

Захватив конверт, служанка скрылась в одном из номеров, откуда доносилось веселое щебетанье.

В большой просторной комнате с двумя итальянскими окнами, завешанными кружевными шторами, перед зеркалом стояла девушка лет 20. Из-под спустившейся с плеч кружевной рубахи сверкали оголенные плечи. Роста она была среднего, с бледным цветом лица, пикантно вздернутым носиком. Половину челки она уже успела завить; щип-

цы торчали в зажженной лампе. Тут же на столе стояли духи, помада и другие принадлежности туалета.

Служанка, передав письмо, остановилась в выжидательной позе у дверей.

В комнате было три кровати. На двух еще лежали девицы — блондинка и брюнетка. Первая — не отличалась красотой и без косметиков выглядела вялой и отцветшей, а вторая, лет 17, не более, свеженькая с вьющимися волосами, полными губками и неподдельными розами на щеках.

Возле, на кушетке, в хаотическом беспорядке нагромождены шелковые юбки, корсеты, чулки и т. д.

Блондинка проснулась и разговаривала, лежа в постели, с девушкой, читавшей письмо.

— От кого, Надюша? — спросила она, потягиваясь и зевая.

— Урчаев приглашает нас на пикник, — ответила Надя.

— Один? — разочарованно протянула блондинка.

— Нет, их будет трое: Сапфиров, Барков и Урчаев. На, прочти, Валюша, — и она бросила блондинке на постель письмо, а сама достала из лампы щипцы и принялась подвивать волосы. — Ты знаешь, Барков очень богатый человек и недавно продал имение. Жили из «Шато-де-Флер» говорила мне, будто он все деньги носит при себе, на груди, в замшевом мешке. Сапфиров тоже видная личность. Ты, может быть, заметила, какой у него на перстне большой солитер. Урчаев-то, положим, дрянь, у него почти никогда не бывает денег.

Блондинка прочитала письмо и, вскочив с постели, принялась тормошить сладко спавшую брюнетку.

— Маня, проснись, проснись!

Та открыла глаза.

— Что тебе, Валя?

— Нужно посоветоваться с тобой: нас приглашают на пикник Сапфиров с Барковым и Урчаев.

— Мы же дали слово студентам-политехникам, — ответила Маня, зевая.

— Была охота! Как же ты не соображаешь, что эти все важные денежные гуси с весом и положением? У Сапфировва сразу можно будет занять рублей пятьдесят. Он и слова не скажет — даст; пусть только попадется к нам на крючок, уж и не отделаемся.

— В таком случае, побоку студентов. Пиши, Надя, согласны. Пусть возьмут с собой побольше конфет и вина.

Надюша присела к столу и быстро написала ответ. После этого позвонила служанку и велела передать записку денщику.

Девушки еще некоторое время совещались между собой, причем в разговоре деятельное участие принимала их субретка Дуня.

Надюша убрала голову и надела пеньюар; Валя тоже оделась к лицу, только Маня продолжала лежать в постели и нежиться.

Подали самовар, а к нему сливки, сухари, пирожное; разливала чай и хозяйничала горничная.

Маня, лежа в постели, пила чай с ложечки и закусывала бисквитом.

— Как хотите, господа, только я советую воспользоваться этим случаем и как можно больше выгод извлечь из него. Здесь дело идет не о простом времяпрепровождении, а о более существенном. Если это правда, что Барков носит с собой деньги...

— То что?

— Очень просто... Где тот пузырек с опиумом, который подарил тебе провизор?

— Ну, что ты, Надя!.. Разве можно?

— Дай мне на всякий случай! — Надюша нагнулась к самому уху подруги и зашептала что-то. Дуня вторила им, энергично разводя руками.

— О чем вы секретничаете? — спросила Маня.

— Эта Надя просто ужасная женщина, — смеялась Валентина; — удивительные у нее комбинации. Недаром студенты прозвали ее Эльфой.

— «За красу я получила первый приз, исполняют все мужчины мой каприз...» — запела Надя, покружилась по

комнате с соответствующими жестами, подбежала к зеркалу, коснулась слегка медвежьей лапкой своих щек и вскричала:

— Однако, пора завтракать! Я прикажу сделать омлет, а там и одеваться.

Напевая и подпрыгивая, она побежала в кухню.

Мрачнее ночи возвращался Семен; напрасно только он бил ноги и потратил время: девицы ничего не сочли нужным дать ему, а тут, в довершение горечи, встретилась Матреша, соседская горничная, и звала к себе вечером.

— Господа уезжают на дачу, остаюсь одна. Приходите. Вместе поедем за Днепр. Вы меня покатаете с американских гор. Я ужасно обожаю катанье с военными!

Семен, приложив руку к козырьку своей фуражки, пообещал. Волей-неволей он должен исполнить «лыцарское слово»; поедут бариновы рейтузы к татарину, даст полтинник, а может быть, и целковый; татары любят покупать старье, а нельзя не угостить девицу.

Осененный этой идеей, Семен воспрянул духом и с веселым видом вручил барину письмо.

Вскоре подошел Максим с корзиной, наполненной вином и закусками.

Урчаев занялся своим туалетом и по окончании его уже собирался выйти, как в комнату влетел молодой человек а светлом клетчатом костюме, цветном белье, лакированных ботинках, с цилиндром в руке.

— Едва мог вас отыскать, дорогой Павел Иосафыч, — начал он, расшаркиваясь. — Извините, что я прямо к вам без церемонии.

— Весьма рад, — ответил Урчаев: — вместе зайдем за Сапфиновым.

— Я больше насчет фей. Желал бы знать, будут ли они с нами. Иначе пирушка не имеет смысла.

— Как же, будут; вот получил письмо... Прелестные девицы. Я с ними давно знаком. И знаете, вполне приличные, с образованием. Их зовут у нас тремя грациями. Младшей не более 17 лет.

Приятели вышли на улицу. Семен, перекинув на левую руку корзину, следовал за ними на почтительном расстоянии.

Теплый пахучий ветерок действовал опьяняюще, ударял в голову и волновал кровь.

Аромат цветущих деревьев разносился всюду, насыщая воздух своими испарениями. Пахло клейкими молодыми листочками тополей, березы, акаций и каким-то особенным медовым запахом. Манило в поле, в лес, подальше от душных, пыльных улиц и раскаленных каменных построек.

Урчаев громко говорил с приятелем о красивых женщинах, а Семен, у которого при виде Баркова воскресла вновь надежда получить на чай, слагал в своей голове обращение к какому то неведомому неумолимому божеству: «Не введи во искушение с бариновыми рейтузами, и да наградит меня этот господин своей щедростью».

— Вы человека с собой берете? — осведомился Барков.

— Нет, я держусь того мнения, что люди в подобных случаях совершенно лишние. Притом Сапфиров не то, что мы с вами — вольные птицы: он семейный и, между нами будь сказано, ужасно боится своей жены: дама — самодур. Бывало, она его из клуба вызывала, когда он поздно засидится за картами. По-моему, удобнее келейно порезвиться на лоне природы, этак оживиться немного. Я же прекрасно умею грести, у Дороховского имеется моя собственная лодка и он воскреснет с моим появлением.

— В таком случае я вам помогу: у нас в имении как раз протекает Десна, я тоже вырос на воде.

Они подошли к площади, по правую сторону которой тянулись скверы, а с левой присутственные места. Два массивных собора красовались *vis-à-vis*; солнце весело переливалось на позолоте их куполов.

— Будьте любезны, подождите меня в одном из этих скверов, а я на минуту зайду в присутствие к Сапфирову.

С этими словами Урчаев исчез.

Барков вошел в сквер, уселся на скамейке, положил ногу на ногу, вынул портсигар и закурил папиросу. А Семен, с корзиной в руках, выстроился перед ним в струнку и уст-

ремил неописуемо жаждущий взгляд в лицо молодого человека.

Урчаев, позвякивая шпорами и возбуждая зависть своею красивою внешностью у геморроидальных чиновников, прошел через канцелярию в отделение Сапфирова.

Сапфиров — мужчина среднего роста, плотный, с дряблым лицом, светлыми выцветшими глазами, почти седой, сидел в кресле и, посасывая сигару, просматривал какую-то бумагу, готовясь ее подписать.

— А, Павел Иосафыч! — приветствовал он Урчаева, подавая мягкую выхоленную руку с двумя большими перстнями на пальцах. — Занят по горло. Присядьте пока!

Урчаев, пристукнув шпорами, сел поодаль и, вынув носовой платок, отер лоб.

— А как же наш пикник? Вы вчера изъявили согласие отправиться на лоно природы, — сказал капитан, с ужасом созерцая целую грудку бумаг, наваленных на столе перед Сапфировым.

— Сейчас, сейчас... Я вот только эту бумажонку, потом другую... Мы это быстро сделаем, — отвечал Сапфиров, держа во рту совершенно потухшую сигару.

— Не угодно ли, — сделал он изящный жест в сторону газет и стоявших на столе сигар.

— Мерсі, — ответил Урчаев и, выкурив с антрактами три сигары, все еще видел, что Сапфиров, олимпийски величественный, как Зевс, углублен в чтение и подписывание бумаг.

— Барков, пожалуй, уйдет и три грации не станут ждать, — подумал Урчаев и встал.

— Так я вас подожду здесь в сквере напротив, — сказал он.

— Нет, нет, — торопливо спохватился Сапфиров: — я сейчас; вот только записку домой. И с этими словами он поднялся с места и выпрямился во весь рост. Шаловливый огонек засверкал в его сузившихся полинялых глазах.

Он писал: «Дорогой друг, не жди меня сегодня к обеду, я приглашен к Подшивалову, а оттуда поеду на заседание. Не беспокойся, если запоздаю немного. Твой Коко».

Заклеив конверт, он позвонил курьера и, лаконически промолвив — «барыне», вышел вместе с Урчаевым из опустевшей канцелярии.

Барков, в томительном ожидании, сидел на скамейке, а перед ним, точно Лотова жена, продолжал стоять Семен с жаждающим, молящим взглядом.

Подозвав парный экипаж, приятели уселись. Один из сторожей присутствия таинственно вынес ящик с винами и проч., старательно сиюсь прикрыть его чуть ли не собственным туловищем, передал в руки извозчика и промолвил: — Осторожнее!

II.

На одном из летучих мостков, около содержателя лодочной пристани, в умопомрачительных весенних туалетах и шляпках стояли Надя, Валя и Маня, а позади их субретка Дуня.

— Ах, как хорошо и предупредительно заставить нас ждать целые три четверти часа в самой томительной скуке! — накинулись три грации на новоприбывших.

— У меня сделался сплин и предупреждаю, что я буду в прескверном настроении духа, — заявила Надина.

— А у меня голова болит, чуть солнечный удар не сделался, — подхватила Валя.

— Я не при чем, не при чем... Меня самого задержали, — оправдывался Урчаев.

— Это я, m-mes, виноват, — объявил Сапфиров с сияющей улыбкой.

— Да? — протянули девицы. — Вам-то на первый раз можно отпустить прегрешения.

— Вот тебе раз! Это почему же? Он также подлежит взысканию! — фамильярно заявил Урчаев. Сапфирова, как человека порядочного круга, это несколько покорило, но это ощущение скользнуло мимолетно по нем, не задержи-

ваясь долго, под впечатлением ясного весеннего дня, солнечного блеска и обаятельного женского общества.

— О, что вы! Г-н Сапфиров, натурально, мог быть занят делами: он так много работает... Мы охотно извиняем.

— Дороховский — лодку! — завопил капитан во все горло. Лодку подали.

— Позвольте вашу руку, сказала Надина Сапфирову: — я беру вас к себе в пажи. Вы довольны?

— В восторге! — любезно ответил Сапфиров, стигая кренделем руку и сбоку поглядывая на свою даму. Надюша не особенно ему понравилась: он находил ее несколько вульгарной; кроме того, по странной случайности, она походила на одну из его племянниц, старую деву, очень ядовитую на язык, особенную любимицу жены. Розовая, кудрявая Маруся нравилась ему больше; но той уже завладел Урчаев.

Баркову досталась Валентина, чем он вполне удовольствовался.

Вожделения Семена увенчались полным успехом: усадив господ и пожелав им здравия, он получил от Сапфирова три рубля и столько же от Баркова. Чуть не вскрикнув от радости, скорым маршем побежал домой.

Перебрасываясь остротами и шутками, компания отплыла за несколько верст в укромный уголок и расположилась на полянке у леса. Субретка девиц разостлала на мягкой, пушистой траве скатерть, установила вина, закуски, конфеты, и приехавшие стали угощать друг друга. Надина уселась рядом с Сапфировым и, несмотря на то, что вначале ему не особенно нравилась, успела под конец вскружить ему голову. Маруся, склонив свою миловидную головку на плечо Урчаева, дремала после двух бокалов шампанского.

Пили, ели, смеялись. Капитан предложил выпить брудершафт, после чего затянул песню и облобызался со всеми.

Субретка Дуня умелой рукой то и дело подливала в стаканы вино и подавала господам.

— Смотри, не перелей, — нахмутив черные брови, повелительно и строго шепнула ей Надина: — наделаешь нам хлопот.

Тонкая усмешка скривила Дунины губы.

— Не беспокойтесь, знаю, — ответила она.

Гости быстро опьянели; Сапфиров скорей всех свалился с ног.

— Ха, ха! прародитель Ной, — смеялся Урчаев, весь багровый, с лоснящейся физиономией и налитыми кровью глазами.

— Оставьте, капитан. Пусть бедный старичок заснет, — сострадательно ответила Надина и прикрыла лицо Сапфирова носовым платком.

Урчаев и сам вскоре, сильно охмелев, заснул.

Валентина отозвала Баркова в сторону, попросила пойти с ней в лес, нарвать ландышей, на что молодой человек изъявил полное согласие, — пошел и, присев около куста, не мог больше встать.

— Извините, — бормотал он: — мне дурно. Сам не понимаю, что со мной делается.

И без чувств свалился на траву.

Затаив дыхание, Валентина выждала несколько минут; видя, что Барков спит тяжелым сном, сдернула перчатку, ловкой рукой нащупала бумажник в боковом кармане, вытащила его и, бегло взглянув на содержимое, вспыхнула от удовольствия; потом торопливо сунула его за корсаж и, оставив бесчувственного молодого человека одного в лесу, бросилась к подругам.

Те тоже хозяйничали около своих кавалеров. Надина похитила у Сапфирова полновесный кошелек с золотом, потом обыскала Урчаева, у которого нашлось всего десять рублей.

— Это твоя доля, Маруся, — деловито сказала Надя.

— Ах, оставь ему, бедненькому, хоть на извозчика! — ответила Маруся.

Беззастенчивее всех шарила субретка Дуня. Она поснимала часы, кольца, отобрала мелочь из кармана, захватив конфеты и несколько бутылок вина, сказала:

— Скорей, барышни, подобру-поздорову, а то еще неравно какой-нибудь черт очухается.

Девицы уселись в лодку, дружно заработали веслами и поплыли назад, оставляя бесчувственные тела своих поклонников.

Навстречу им ехала лодка студентов, человек пять.

— M-res, m-res! — закричала Надина, перегнувшись за борт: — мы наказаны, наши кавалеры оказались невежи: перепились и нехорошо повели себя, так что мы принуждены были их оставить. Проведите нас в город.

Вскоре шумная молодежь расселась парочками и направилась по Днепру, обгоняя друг друга.

Вечерело. Солнце уже близилось к закату. На западе потухли последние отблески лучей. Пикнисты лежали, объятые тяжелым, мертвым сном. Урчаев поднимется немного, поведет глазами, промычит что-то и опять бросится на траву.

По дороге с унылым видом брели четыре оборванца-верзилы.

— Стой, братцы, сказал один: — никак господа до бесчувствия перепились! Ишь сколько водки и закуски! Вот Бог счастье послал!

Потрогав довольно бесцеремонно господские тела, оборванцы присели на траву, жадно съели остатки, выпили вино, потом принялись раздевать бесчувственных пикнистов. Они учинили форменный грабеж: поснимали все платье, начиная от верхнего и кончая обувью, забрали даже шапки. Отыскали в лесу Баркова и, как водится, обообрали до нитки.

— Ай пристукнуть, побить им на голове бутылки? — сказал один верзила с жестким озверелым лицом и длинными рыжими усами, типично опущенными вниз.

— Нешто мы нехристи! Зачем же губить христианские души? — остановил другой, постарше, с наслаждением высасывая последние капли ликера с дна бутылки.

— Ну, счастье, что ни один из них не шелохнулся, а то бы капут, — точно похваляясь, заявил верзила с рыжими усами, и, завернув в скатерть награбленное добро, переки-

нул узел на спину и направился по дороге в сообществе подвыпивших товарищей.

III.

Ночной холод дал себя почувствовать. Первым очнулся Урчаев и некоторое время ничего не мог сообразить. Затем пришел в себя Сапфиров.

Густая ночь окутала землю.

— Господа, где мы? — проговорил Урчаев, не попадая зуб на зуб.

— Что за метаморфоза? — отозвался Сапфиров, ползая по траве.

К довершению всех бед, полил крупный дождь, который мерно лил до утра; темь стояла непроглядная. Несчастные робинзоны тщетно отыскивали одежду; но ничего, кроме липкой грязи, травы и груды пустых бутылок, им не попало.

— Мерзавки, подшутили над нами! О, это скверная шутка! Я не позволю так над собой шутить, — скрипел зубами Урчаев. — К какому кодексу преступлений относится подобный поступок? Очевидно, они опоили нас чем-либо и, заранее сговорившись с сутенерами, ограбили. Мало того, что ограбили! Самое издевательство непростительно! — волновался Урчаев.

— Но как могли вы пригласить подобных особ? — возражал Сапфиров: — они даже ниже камелий. Я поверил вам, иначе никогда не рискнул бы...

— Кто мог знать или предвидеть! — ворчал капитан. — Я отомщу им.

Сапфиров все больше и больше приходил в себя, хотя голова сильно болела и обрывки мыслей скользили в ней, но эти мысли были ужасны. Что теперь делается дома? Что думает жена, Соломонида Платоновна? Он надеялся часов в одиннадцать-двенадцать возвратиться домой и вдруг застрял; но где же и каким образом?! Стыд и позор.

Вдруг из лесу раздался ужасный, отчаянный вопль точно раненого вепря; то кричал Барков, призывая на помощь Урчаева. Последний в свою очередь взвыл, ответствуя.

Вскоре полумертвый от страха, натываясь на сучья и царапаясь, прибежал Барков и примкнул к собратьям по несчастью. А ритмический мерный дождь сеял и сеял сверху, обливая беззащитных робинзонов.

Вдали по Днепру раздался сигнал и, рассекая волны, светясь красноватыми огнями, неся пароход. Кое-где мелькали маяки.

Урчаев приблизился к берегу и начал кричать, но его никто не слышал: пароход все отдалялся и отдалялся, наконец, совсем скрылся. Только испуганная ворона встрепенулась в гнезде и закаркала. Маяки продолжали еще некоторое время светить. Вскоре и они погасли, как несбывшиеся надежды.

Светало. Утро выдалось хмурое, сырое; дождь перестал, но солнце еще не показывалось: оно было точно задержано серой пеленой. При свете сумрачного дня пикнисты сидели, скрючившись, в первобытной позе утробного младенца, с всколоченными волосами и налипшей грязью.

— Что делать?! — бормотал Урчаев: — нельзя падать духом. Бодрость потерял — все потерял. Надо, во-первых, обмыться в Днепре, мы в ужасном виде, но вода чертовски холодная!

Сапфиров не двигался с места. Вся фигура его хранила в себе безнадежное отчаяние.

О чем думал он? Вероятно, на одну тему с различными вариациями, что от великого до смешного всего только один шаг.

Барков бегал по полянке, вскидывал ногами, как молодой козел, ударял себя ладонями и вскрикивал. Бедный молодой человек совсем замерз, при том же у него отчаянно болели зубы. Солнышко, точно сжалившись над несчастными, прорвало сумрачную завесу и проглянуло, пригрев замерзших, заблестало, заискрилось тысячью радужных блестков в росистой траве. Около кустов цвели и привет-

ливо кивали серебристые головки ландышей, насыщая воздух сладким ароматом,

Пригравшись немного, Урчаев вошел в воду, за ним последовали другие. После ванны капитан тщательно начал осматривать бутылки и хоть бы где капля оказалась.

Впрочем, одна бутылка, заманчиво наполненная наполовину, прельстила было капитана. Он хлебнул, но тотчас сплюнул и выругался.

Подъехала лодка с рыбаками. Те, широко раскрыв глаза, смотрели на бегавших по берегу людей в прародительском костюме.

— Голубчики, ратуйте! — бросился к ним Урчаев: — разбойники напали, обобрали до нитки: дайте знать в город в мою квартиру, чтобы денщик вынес мне какую ни на есть одежку...

— Кто же вы такие будете? — недоумевали рыбаки.

— Я капитан Урчаев, — точно на смотре рекомендовался тот: — а те тоже все известные люди...

— Ради Бога, не называйте моей фамилии, — простонал Сапфиров.

— Не беспокойтесь, в сущности что же такое — глупый непредвиденный казус. Ратуйте, братцы, награжу по-царски вас, в долгу не останусь.

В голосе его звучали повелительные ноты, так что рыбаки задумались.

— Изволь, барин, порты и рубаху дам тебе. Не хотел брать, так баба навязала перемену, говоря: полезешь за раками, промокнешь весь, а может вздумаешь купаться.

— Прекрасно! Я в твоей одежде добегу до своей квартиры. Не хотелось бы мне посвящать Дороховского в эту историю... Ну, да нечего делать... Мне лишь бы добраться до города, а там я подниму всю администрацию на ноги. Те мерзавки будут наказаны.

— Прошу вас, не поднимайте шума, иначе я погиб, — молил Сапфиров.

— Бери, барин, порты и рубаху. Есть еще попонка. Кому дать ее? — перебил рыбак.

В попону завернулся Сапфиров. Над Барковым сжалился другой рыбак и дал ему мешок. Прорезав отверстие для головы и рук, соорудив нечто вроде рубахи, молодой человек надел ее. Сильная зубная боль не унималась и продолжала его мучить.

— Эврика! — вскрикнул Урчаев, садясь в лодку: — придется посвятить Дороховского во все перипетии. У него найдется приличествующей костюм. Пошлем за водкой и того... Барков, перестань выть, тоску нагоняешь... без тебя тошно.

— Зубы болят, — отвечал несчастный молодой человек.

— Вот так оказия! И стряется же беда над хорошими господами! — сочувствовал рыбак,

— Что же мне делать? Я более, нежели вы, господа, в критическом положении, — бормотал Сапфиров, ломая руки.

— Да ничего, — ободрял его капитан: — я же говорю вам: у Дороховского найдется костюм для вас. Наденете и поедете домой. Еще рано, на улицах нет движения и вы незаметно проскользнете.

— Но вы не знаете моего семейного положения. Соломонида Платоновна не спит и от ней ничего невозможно скрыть...

— Ну, тут уж я пасую... Тогда зайдите ко мне на квартиру. Я сумею вас, в случае надобности, защитить грудью... Можно будет обставить дело так, будто вы были у меня... ну там, не поздоровилось вам... а тем временем позовем портного и прикажем ему в один момент мундир сделать...

— Грандиозный, неслыханный скандал!.. Я кажется, пуцу себе пулю в лоб...

— Пустяки! Ваша жизнь еще нужна на пользу и благо многих, — утешал Урчаев.

— Об одном прошу, дорогой друг: не преследуйте тех жалких, погибших созданий. Презрение — самое лучшее для них наказание...

— Извольте, ваше великодушие победило меня, — не без борьбы с сам им собою вымолвил Урчаев.

Они пожали друг другу руки.

— Но как же мои деньги? Неужто погибли, три тысячи!!
— воскликнул Барков.

— Я возвращу вам их, — отвечал Сапфиров.

Содержатель лодочной пристани оказал возможное гостеприимство нашим одиссеям. Капитан узнал от него, что девицы высадились на берег в обществе студентов и уехали в город. Урчаев выругался, потребовал водки и прилег на кровать. Отыскивали какого-то парнишку лет 14 и послали его на квартиру капитана за одеждой.

Спустя немного времени прибежал покутивший всласть Семен с узлом платья и столь искушавшими его рейтузами. Только, увы, штiblеты капитана выглядели крайне поношенными, с заплатами и в дырах. Других не оказалось.

Баркову доставили все новое и он с удовольствием переоделся в свежее белье и платье, а щеку подвязал белым фуляром и отправился к дантисту.

Один Сапфиров никак не мог прийти в себя, сидел обернутый в попону и уныло глядел в окно на бьющиеся волны. Напрасно Урчаев убеждал его одеться в более приличное платье и ехать домой.

Вдруг около пристани остановился экипаж, из которого вышла полная, величественная дама а бедуине верблюжьего цвета, черной кружевной шляпке с желтыми розами, сопровождаемая шустрой рябой горничной лет за сорок с лукавым лицом и бегающими, как угли, глазами. Судя по всему, величественная дама находилась в чрезвычайном волнении, что сказывалось в молниеносных вспышках глаз, багровом румянце щек и в судорожно подергивающейся верхней губе, украшенной темным пухом.

Шатаясь и тяжело ступая по лесенке, она стремительно двигалась вперед. Горничная ловко подхватила ее под руки и шепнула:

— Слава Богу, барин живы и здоровы. Вон сидят у окна...

— Где он? — захлебываясь от волнения, прошептала дама и румянец ярче разлился по ее щекам, но она тотчас овладела собой.

— Вон, вон побежали, спрятались, — замирая от восторга, шептала служанка.

Они постучались в каморку лодочника. Дороховский, почтительно кланяясь, распахнул двери и величественная дама проследовала в комнату, где суетился Сапфиров, одеваясь и не попадая того, что ему было нужно. Капитан, вытянувшись в струнку, стоял около стенки, оклеенной дешевенькими обоями.

— Доброе утро, мой друг! Как я рада! — медоточивым голосом проговорила дама Сапфирову.

— Сейчас, мой друг, я сейчас, — бормотал тот, заканчивая туалет какими-то красными вышитыми туфлями, надетыми на босую ногу, предусмотрительно захваченными Семеном в узел одежды для капитана. — Несчастье, Salomi, случилось: вздумал купаться и того... нас обокрали... мундир... все... и вот у него то же самое, — сослался он на Урчаева, делая дрожащей рукой жест в его сторону, сопровождаемый умоляющим взглядом.

— Мы — жертвы ужасной, непредвиденной случайности, — подтвердил капитан с поклоном, но дама не обратила ни малейшего внимания на его слова.

— Тебе, пожалуй, неудобно, мой друг, ехать со мной в этом костюме. Ты поезжай вперед, а я один доберусь, — бормотал Сапфиров, неловко запахиваясь в полы халата.

— Не беспокойтесь, я прикрою вас своим бедуином; достаточно я переволновалась в эту ночь. Теперь ни на одну пядь не отпущу, — нежно произнесла супруга Сапфирова.

Она вывела его из-под гостеприимного крова лодочника и усадила рядом с собой в экипаже.

— А шапка баринова где? — кричала горничная, делая переполох: — нельзя без шапки ехать: голова заболит.

Урчаев сорвал с своей головы фуражку и почтительно подал даме. Отклонив величественным жестом и ни на кого не глядя, та сказала сухо:

— Нельзя ли без одолжений? — она надела на голову супруга простой синий бумажный платок и, раскрыв белый шелковый зонт, велела кучеру ехать домой.

После этого, столь памятного пикника, Сапфиров захворал сложной нервной болезнью и, взяв четырехмесячный отпуск, не довольствуясь местными светилами психиатрии, поехал лечиться за границу.

Барков выдернул у себя почти все зубы из правой челюсти и вставил новые.

Урчаев отделался легче всех, только сильно задолжал военному портному, который часто является к нему, высиживает в передней и положительно отравляет существование.

Одни только три грации, Надя, Валя и Маня, по-прежнему наслаждаются жизнью: разгуливают в умопомрачительных туалетах и шляпках, катаются на рысаках.

Впрочем, легкое облачко коснулось и их горизонта: после достопамятного вечера девицы перессорились между собой и теперь живут уже на отдельных квартирах.

СТРАНИЦА ПРОШЛОГО

Рассказ

Выдался холодный зимний день; снег падал, кружась в воздухе хлопьями; к ночи обещал усилиться мороз. Фонари зажгли рано и от сильного напора ветра, проносившегося подобно жужжанию стали, видно было через дребезжащие стекла их колеблющееся пламя. Только электричество горело ярким немигающим светом.

По одной из главных улиц шатающейся походкой приближалась женщина в отрепьях. Она отыскиала большой дом и направилась к роскошной барской квартире в бельэтаже. Сильный ветер почти валил ее с ног, теребя лохмотья и забрасывая их комьями снега.

На ней надета была короткая ватная кофта, изорванная во многих местах и залатанная цветными лоскутьями, черная юбка с отрепанным, висевшим бахромой подолом. Ковровый платок окутывал обрюзгшее морщинистое лицо с выбившимися на лбу космами седых волос.

Она вошла на парадное крыльцо, взглянула на прибитую медную дощечку, где витиеватыми инициалами было вырезано: «Стратон Артемьевич Мумиев, профессор хирургии», причем вслух повторила имя и фамилию и вступила в обширный вестибюль.

На стуле, с газетой в руках, сидел швейцар.

— Что тебе? — спросил швейцар.

— Мне нужно видеть Мумиева, — твердо произнесла женщина.

— Профессора Мумиева? — внушительно переспросил швейцар. — Он таких больных, как ты, принимает только в клинике.

— Я не больная, а знакомая его.

Швейцар подозрительно оглядел ее с ног до головы. Женщина имела гордый, внушительный вид, говорила с аплом-

бом; повелительные ноты звучали в ее голосе. Все это повергло его в недоумение... Но кто их разберет! Попрошайки ведь разные бывают; и он проговорил:

— Все-таки вас впустить не могу.

— Не думайте, что я пришла за милостыней, уверяю вас. Мумиев меня хорошо знает и непременно примет. Не всегда же он жил в таких хоромах. Да вот вам доказательство.

Она порылась в кармане и вытащила оттуда вместе с пачкой нюхательного табаку засаленный конверт, достала из него фотографическую карточку какого-то длиннолицего юноши с приятной улыбкой на красиво сложенных сердечком губах, оттененных мягкими, пушистыми усами.

— Видите, — сказала женщина. — Теперь прочтите подпись на оборотной стороне.

Тот уклонился. Взглянув мельком на фотографию, швейцар улыбнулся, откашлялся и указал на дверь, говоря:

— Звоните, там человек проводит.

Женщина, довольная произведенным эффектом, запрягала фотографию и сказала:

— Без меня ему вряд ли выбраться в люди. Что он, важничает?

— Есть немного, — отвечал швейцар, не без сочувствия слушавший женщину.

— Мне с ним церемониться нечего. Посмотрю, как он меня примет, — с этими словами она нажала пуговку электрического звонка.

Дверь сейчас же поддалась и угреватая физиономия молодого лакея, пересмеивающегося с пробегающей горничной, проглянула из передней.

— Завтра в клинику. Сюда только господа ходят, — заявил было он.

Посетительница объяснила ему почти тоже самое, что и швейцару, только к вещественному доказательству ей не пришлось прибегнуть, так как она рассыпала табак и закашляла.

— Подождите, — сказал слуга.

Она вступила в большой зал с позолоченными зеркалами, стульями и роскошными тропическими растениями

в кадках и вазонах на мраморных тумбах.

На стульях сидело до десятка пациентов обоего пола.

Быть может, невольно, в силу старой привычки, женщина подошла к зеркалу, где во весь рост отразилась ее грузная, тяжеловесная фигура в лохмотьях. От туфель ее остались мокрые следы на паркете. Оглядев себя внимательно в зеркало, она покачала головой, присела в кресло, не то задумалась, не то задремала, а, может быть, предалась и воспоминаниям прошлого.

Тепло благотворно подействовало на нее: синева пропадала с лица и оно делалось изжелта-бледным. Она терпеливо выжидала, пока посетители один за другим перебивали в кабинете профессора, потом одевались и уходили. Некоторым из них слуга подобострастно накидывал шубы, ротонды и отворял двери.

— Все уже? — раздался из-за дверей кабинета резкий, пронзительный голос, от которого женщина вздрогнула и поднялась с кресла.

— Еще старушка какая-то дожидается, — доложил слуга.

— Приемные часы окончены... Завтра в клинике, — недовольным тоном произнес профессор и вышел в залу.

Он был довольно высок ростом, худощав, с длинным, как бы вытянутым лицом, глазами навывкате и черными, как смоль, слегка подфабреными усами. Всю физиономию скрашивали ярко-пунцовые сочные губы, при виде женщины в лохмотьях искривленные гримасой недоумения.

— Что это? Кого ты впустил? — строго крикнул он лакею.

Она стояла точно окаменелая, жадно вперив ненасытный взгляд больших, глубоко впавших глаз в лицо Мумиева. Но при возгласе последнего вздрогнула, будто от удара хлыста.

— Это я, — сказала она, подступая ближе к нему: — не узнаешь меня, Стратоша? Немудрено, голубчик: двадцать лет прошло, двадцать лет, — повторила она тоном невыразимого сожаления. — Видишь, какая я стала страшная. Меня действительно теперь трудно узнать. А ты, право,



— Не узнаешь меня, Стратоша? — произнесла женщина.

Стратончик, выглядишь молодцом, так что я на старости лет опять не прочь в тебя влюбиться.

О, как ты коварно поступил тогда со мной, когда бежал в Х.! Но я так добра, что все забыла и простила тебе, Стратончик. Я ведь очень была добра, всегда добра...

По мере того, как она говорила, длинное лицо Мумиева вытянулось еще больше; на несколько минут пришлось и ему окаменеть, но он быстро овладел собой. Оглянувшись назад, он увидел глуповатую физиономию слуги, стоявшего на пороге и, с нескрываемо-жадным любопытством, ловившего каждое слово. Изумление, гнев засверкали в глазах Мумиева.

— Ошиблась, старушка! — резко и сухо прервал он женщину, злобно глядя, точно намереваясь испепелить ее взглядом, и прибавил слуге:

— Выпроводи ее!

— Выпроводи?! — повторила та, точно не веря своим ушам. — Я не пойду! — крикнула она: — денег мне давай! Видишь, в каком я положении. Ты пять лет пользовался моими средствами и обещал выплатить долг, когда будешь иметь возможность. Теперь я пришла получить с тебя старый долг.

— Она какая-то безумная! — с натянутым смехом пробормотал Мумиев, хотя лицо его покрылось смертельной бледностью и как бы сразу похудело, только глаза блистали фосфорическим, зловещим блеском.

Слуга бросился и подхватил ее под руки, но одному ему, очевидно, не по силам стало справиться с нею.

— Надо Тимофея позвать, — сказал он.

Явился швейцар.

— Прочь, халдеи! — кричала расходившаяся гостья: — у меня самой когда-то Стратошка Мумиев на посылках был, генералам калоши подавал.

— В участок ее... или психиатрическую больницу, — распорядился Мумиев.

— За что? Я не пьяная и не сумасшедшая! — вопила та.

Общими силами ее вывели; крик и возня обратили на себя в доме всеобщее внимание. Гувернантка, со взбитой челкой и бантиком на груди, выглянув из дверей, скрылась.

Мумиев вошел в свой кабинет и судорожно схватил себя за голову. Он был бледен, дрожал весь как в лихорадке и чувствовал сердцебиение. Боясь, чтобы не упасть в обморок, он подошел к шкафу и выпил целый стакан кали-бромати, после чего присел к столу и тем же судорожным движением взял себя за голову и так просидел несколько минут, пока одеревенелое спокойствие мало-помалу не овладело им.

— Пожалуйте чай кушать. Барыня едут в театр и потому раньше распорядились самоваром, — сказала горничная, вдруг появляясь на пороге.

Мумиев тупым, бессмысленным взглядом посмотрел на нее и не сразу понял, казалось, чего от него требуют.

Та повторила приглашение.

— А? хорошо, — сказал он.

Посидев еще несколько минут, он встал, взглянул на себя в зеркало и, почти сверхъестественным усилием воли, придав стереотипное выражение своей физиономии, прошел в чайную.

За большим столом кипел серебряный самовар и сверкала хрустальная посуда.

Целина Мумиева, высокая красивая дама лет сорока, с тщательно убранный головой и присыпанным пудрой лицом, в широком пеньюаре, сидела за столом. Около нее помещались три девочки-подростка и гувернантка их. Горничная наливала чай и расставляла по принадлежности.

При появлении мужа Целина взглянула на него как-то многозначительно.

— Вы будете в театре? — спросила она.

— Может быть, приеду, — отвечал Мумиев.

— Что у вас сегодня был за шум в приемной? — как бы вскользь заметила она.

— Да, неприятная история: кто-то, вероятно, по ошибке, дал мой адрес психически-расстроенной женщине и я рас-

порядился отправить ее по принадлежности, — отвечал Мумиев, отхлебывая чай.

Целина замкнулась в горделивое достоинство. По ее белому пухлому лицу облачком скользнула какая-то тень. Гувернантка что-то уж слишком суетилась около детей. Горничная в промежутках, пока господа пили чай, выбегала в переднюю и перешептывалась с лакеем.

Вернувшись к своим обязанностям, Мумиев улавливал на себе ее пристальные взгляды.

Все это крайне раздражало его, между тем, он ни к чему не мог придаться. Ссылаясь на то, что ему нужно сделать вечерний визит в клинику, он встал из-за стола.

Целина посидела еще несколько минут над своим остывшим стаканом как бы в раздумьи, потом велела горничной достать из гардероба кремовый атласный лиф и купить в цветочном магазине белых гелиотропов, которыми намеревалась приветствовать артиста-бенефицианта.

Очнувшись от раздумья, она подошла к трюмо, оглядела внимательно свою пышную фигуру и произнесла вслух:

— Да, в его жизни было что-то темное, недосказанное и я недаром всегда чувствовала это.

Она прошла в спальню одеваться.

Мумиев опять заперся в своем кабинете. Проходя через зал, он с ужасом взглянул на то место, где стояла недавняя посетительница, точно боялся опять увидеть ее. В его воображении не переставало вставать широкое обрюзгшее лицо с глубокими морщинами, сначала с улыбкой обратившееся к нему и потом искажившееся злобой отчаяния. И всего ужаснее, что в этих расплывшихся, обезображенных чертах мегеры он узнавал что-то милое, дорогое и некогда близкое себе.

...Она явилась и стала на его дороге, а он думал, что все счеты с ней давно окончены. Ужасную метаморфозу свершила с ней жизнь; этого нужно было ожидать, и он знал наперед, что так будет. Ксения кончила тем, чем и многие подобные ей: спускаясь со ступеньки на ступеньку все ниже и ниже, пока окончательно не погрязла в нищете и пороке.

Отчего появление этой женщины так взволновало его? потому ли, что он не ожидал ее, или не хотел, чтобы развертывалась когда-либо она из черных страниц его жизни?

И мог ли он иначе обойтись с этой отвратительной старухой? Он прав был, поступая таким образом и отрезав ей дальнейшие пути.

Но все же о Ксении в его душе сохранились теплые воспоминания. Некогда она пригрела и обласкала его беспросветную юность — самому себе Мумиев мог признаться.

Мать его, оставшись вдовой без всяких средств, поступила в экономки к богатому пану и, отказывая себе положительно во всем, едва могла в месяц высылать ему по десяти рублей. На эти деньги он должен был жить и учиться. О, как трудно приходилось ему! Сколько голодных и холодных дней пережил он!.. Чтобы иметь возможность купить хлеба или пообедать, он принужден был за несколько верст бегать на уроки; когда же последних не случалось — изыскивал другие средства, как-то: по несколько часов проводил на почте, сочиняя неграмотным письма и т. д.

Однажды на масленице он отправился в маскарад. Ему было грустно. Среди многолюдного собрания одиночество сказывалось острее, и он прислонился к колонне, рассматривая нарядных, причудливых масок. Мимо проходила среднего роста полная брюнетка, в покрывале золотого дождя. Она ударила его по руке веером и сказала:

— О чем ты задумался?

Он отвечал ей. Слово за слово — и они разговорились. Молодой человек заинтересовал ее настолько, что, удалившись в салон, она просидела с ним в укромном уголке несколько часов подряд. Наконец, по его просьбе, она сняла маску и обратила к нему веселое, смеющееся лицо.

— Нравлюсь ли я вам? — кокетливо спросила Ксения.

— Необычайно, в особенности ваши глаза. Это блуждающие огни, — с восторгом отвечал он.

Мумиев провожал ее и с той поры сделался бессменным посетителем ее дома. Как юноша осмотрительный, он прежде всего постарался узнать прошлое молодой женщины.

Ксения Завьяловская происходила из порядочной семьи и, рано оставшись сиротой, поступила на содержание к богатому человеку, который, в конце концов, начал тяготиться ею и искал случая пристроить ее. Покровитель предложил Мумиеву жениться на Ксении; тот изъявил согласие, но просил подождать, пока он кончит университет. Так шли годы.

На правах жениха он постоянно бывал у Ксении. Молодая женщина полюбила его, что, впрочем, не мешало ей принимать у себя разных штатских и военных генералов.

Мумиев делал вид, что ничего не замечает, верил в ее порядочность и будто бы не знал, откуда у ней берутся средства. Подобное отношение к ней льстило молодой женщине и в тоже время она, пожимая плечами, спрашивала себя: — неужели же он так наивен?

Мумиеву жилось хорошо; материально он ни в чем не нуждался. За лекции платил исправно, платье носил от первого портного.

Окончив университет блестящим образом, он вскоре получил место при больнице в одной из смежных губерний и собирался в отъезд. Ксения тоже приготовилась с ним ехать, а это не входило в его расчеты. Ей шел уже 30-й год, красота увядала, генералы стали все реже и реже появляться в ее квартире. С прислугой она брюзжала с утра до вечера, кредиторы назойливо приставали и Ксения, как за якорь спасения, ухватилась за поездку с ним.

В один прекрасный день Мумиев явился к ней и сделал ужасную сцену.

— Я узнал всю вашу жизнь. Оказывается — вы эксплуатировали мое юношеское увлечение вами! — закричал он и начал разоблачать все ее поступки и закулисные похождения, только будто бы сейчас узнал о них и глубоко возмущен.

— Вы падшая женщина, а я возвел вас на пьедестал, верил вам, поклонялся, думал вверить вам свое имя, честь и счастье; вы, невзирая на это, лгали и обманывали меня на каждом шагу. Ваши деньги жгут меня. Поступив на службу

бу, первым долгом постараюсь собрать должную вам сумму, чтобы бросить вам в лицо!

Бледная, подавленная, с остановившимся взглядом «блуждающих огней» слушала Ксения его громовые речи.

Оскорбленным принцем удалился Мумиев.

Опомнившись, молодая женщина сообразила, что все его красноречие было предвзятое, напускное, и отправилась к нему за объяснениями, но он скрылся уже неизвестно куда.

После этой бури она уехала в Одессу, где прожила несколько лет. Мумиев, заняв место в больнице, женился на дочери богатого землевладельца.

О Ксении к нему иногда доносились смутные слухи: говорили, что ею пленился какой то грек и увез в Константинополь. С тех пор слухи прекратились и мало-помалу он забыл о ее существовании.

Прошло много лет. Он получил кафедру при Х. университете, приобрел славу известного хирурга; внешние блага жизни улыбались ему, только внутреннего удовлетворения он не испытывал при этом.

Если бы кто спросил его, счастлив ли он, Мумиев не мог бы ответить на этот вопрос. Целина всегда относилась к нему несколько холодно, увлекалась различными певцами и артистами и он, чувствуя себя одиноким, поневоле замкнулся в самом себе.

Теперь вдруг, не смотря на бурю негодования и злобы, в душу его закралось сожаление к падшей женщине. Он сознавал, что жестоко поступил с ней, выбросив ее из своего дома, когда она явилась за милостыней.

За «милостыней» ли?

Ему хотелось загладить свой поступок, пойти к ней и сказать:

— Прости, что я так безжалостно поступил с тобой. Я глубоко несчастлив и ото всех скрываю это. Я несравненно чувствовал себя счастливее в то время, когда, отдежурив лекции, бежал к тебе и ты встречала меня лаской и приветом.

Он знал, что Ксения поймет его. Ведь понимала же раньше она его душевные движения. Им овладело желание сейчас же ехать отыскивать Завьяловскую, дать ей денег, или, смотря по обстоятельствам, поместить в богадельню или приют для алкоголиков, одним словом, так или иначе облегчить участь бедной женщины.

— Только где же она теперь, куда скрылась, или ее отправили согласно его распоряжению?..

Он не в силах был противиться своему безудержному желанию, встал и вышел в переднюю.

Слуга подал ему теплую шинель с бобровым воротником.

— Куда она пошла, бедная, бесприютная и как бы мне узнать ее адрес? — думал Мумиев,

— Что это? неужели на старости лет я становлюсь психопатом? Зачем мне отыскивать жалкое падшее создание, для которого уже не может быть никакого спасения? — спохватился он и хотел уже сбросить с себя шинель.

— Извольте сами захватить в театр цветы для барыни, или прикажете мне отнести? — сказала вдруг появившаяся горничная с раскрытыми картонажем, где лежали белые гелиотропы, издававшие сильный до приторности запах.

Мумиева передернуло.

— Убирайся вон! — прикрикнул он на горничную и обратился к слуге;

— Куда вы отправили... старушку?

— Я хотел ее препроводить в участок и нанял уже извозчика, а Тимофей не велел, сказал: пускай себе идет с Богом, — оправдывался тот.

— Вот как! Ксения успела возбудить к себе здесь участие, — подумал Мумиев и вышел в коридор.

Швейцар с почтительным видом привстал с своего места.

— Не знаешь ли, куда та, несчастная, отправилась? — спросил он будто мимоходом.

— Я позвал извозчика и велел ее за безобразие доставить в участок, — зарпортовал тот: — но она взмолилась Хрис-

том Богом и просила доставить ее в Глухой переулок, к № 14. Это против водочного завода, — поспешно пояснил он.

Мумиев вышел на улицу. Холодный ветер пахнул ему в лицо точно огнем. Он приподнял воротник, закутался плотнее, прошел дальше и вдруг, остановившись посреди тротуара, резко захохотал. Какой-то прохожий с удивлением оглянулся на него и пугливо посторонился.

— Что за малодушие! Я положительно становлюсь психопатом.

Им овладели колебания.

Ветер, все усиливаясь, тоже будто оттягивал его назад, но вдруг что-то сильнее ветра и внутренних колебаний души рвануло его вперед,

— Извозчик!.. Глухой переулок, номер дома 14, — сказал он, усаживаясь в сани.

Возница стегнул лошадку и бодро помчался в указанный конец города.

С большим трудом, отыскав 14-й номер, Мумиев вошел в растворенную настежь калитку большого запущенного двора с полуразрушенными постройками. Усадьба эта напоминала собой разбойничье гнездо. Квартиры походили на западни и, по-видимому, служили пристанищем для различного сброда, вроде дешевых ночлежек.

Он долго блуждал, как в лабиринте, из одной квартиры в другую, пока ему не встретился подозрительный субъект с взъерошенной головой. Мумиев обратился к нему с вопросами.

Тот, угрюмо выслушав его, посоветовал обратиться к хозяйке и даже вызвался проводить.

— Кто их знает! Сюда много женщин приходит, иной раз только для ночлега, другие же имеют постоянные квартиры, — пояснил он, провожая Мумиева в закоулок сараеподобного здания.

Постучав в тускло освещенное оконце, они стали выжидать результата. Спустя немного времени дверь поддалась, и Мумиев с своим спутником вступил в прокопченную дымом комнату, полную женщин и детей. Некоторые улеглись на полатах и нарах, а кому не хватило места — на по-

лу. Другие, усевшись ближе к свету, чинили одежду, накладывая заплаты. Одна группа мегер играла в засаленные карты. Воздух стоял удушливый, пропитанный миазмами. Седая, косматая женщина, с засученными рукавами, ястребиным взглядом и хищническим, в виде клюва, загнутым носом, выступила вперед.

— Я хозяйка. Что вам угодно?

— Благотворительное общество поручило мне отыскать Ксению Завьяловскую, — проговорил он.

— Аксютку приезжую? Нет ее, с утра еще ушла куда-то, вот и плетенку свою покинула, — отвечала хозяйка, окидывая его с ног до головы алчным взглядом.

Мумиев ушел. Метель разыгрывалась все сильнее, снег сыпал сверху и снизу.

Подозрительный субъект, терпеливо выжидавший результата розысков, сказал:

— Не будет ли вашей милости, барин?

Мумиев бросил ему рубль и поспешил к извозчику.

— Совсем замерз, барин, — сказал тот. — Я уже боялся, чтобы вас не ограбили в этой трущобе.

— К театру, — приказал Мумиев.

Он вошел в залитый светом зал и направился к своей ложе. Нарядная, оживленная Целина сидела рядом с своей приятельницей Валерией Завойской.

— Однако вы запоздали, — сказала она мужу.

В это время вышел артист-бенефициант, раздался единомудушный взрыв аплодисментов. Целина, с обворожительной улыбкой, перегнувшись за барьер ложи, бросила на сцену белый пучок гелиотропов. За ней последовала Валерия.

Молодежь хлопала, не жалея рук, дамы бросали цветы; один Мумиев оставался холоден и безучастен ко всему оживлению. Из его головы не выходила Ксения, не та отвратительная, вульгарная старуха, которую он видел сегодня, а миловидная брюнетка, с серыми бегающими, как блуждающие огни, глазами. Тогда и сам он был молод; счастлив и полон радости жизни. Где же это все, куда подевалось, и какая ужасная метаморфоза жизнь!

Он пошел бродить в фойе.

— Не могу выносить, когда он приходит из клиники: мне так и кажется, что он там кого-нибудь зарезал, — жаловалась Целина подруге. — Ты себе представить не можешь, как это действует мне на нервы. Будь у него еще какая-либо другая специальность, а не резня, с которой я положительно не могу примириться. Притом у него часто неудачно выходит: он слишком рискует.

— Вполне понимаю твоё положение, — с сочувственным вздохом отозвалась Валерия. — В твоей душе столько поэзии и — вдруг сухой, холодный эгоист, неспособный понять и уловить стремлений твоих.

Они замолчали, так как Мумиев опять вошел в ложу и уже до конца высидел, хотя это было для него невыносимой пыткой.

В следующий вечер он повторил свой визит в Глухой переулок — и результат получился тот же.

А наутро он прочел в газетах под рубрикой ежедневных происшествий: «Около Набережной найден замерзший труп женщины; в кармане ее платья отыскан паспорт и письма на имя Ксении Завьяловской».

Мумиев пришел в анатомический театр сказать ей свое последнее прощанье.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Очерк

А, Брут достопочтенный гражданин...

*(Шекспир, «Юлий Цезарь», речь
Антония к народу)*

I.

Василий Петрович Масленников долго и бесцельно бродил по городу. Он прошелся по базару на Подоле и, незаметно для себя, добрел до толкучего рынка, где у него чуть не вытащили кошелек с последней десятирублевкой. Вор ловко уже запустил в карман к нему руку, но Василий Петрович вовремя спохватился: инстинктивно вздрогнул, помялся несколько мгновений на одном месте и, успев переложить портмоне в боковой карман пиджака, поспешил совсем убраться с толкучки подобру-поздорову.

Масленников медленно двигался по Александровской улице, то и дело останавливаясь перед окнами магазинов, мимоходом заглянул к ювелиру и чуть было не соблазнился часовой цепочкой, которую ему захотелось купить. Он зашел в магазин, приторговал уже ее, как вдруг вспомнил, что десятирублевая кредитка в кармане — последнее достояние всей его семьи. Жена, Маша, голову прогрызет, если он непроизводительно израсходует ее. И молодой человек со вздохом отошел от соблазнительной витрины. Василий Петрович поплелся на Крещатик, дошел до думы и, свернув вверх, остановился около присутственных мест в раздумьи, собираясь уже пройти домой на Дмитриевскую улицу, где он снимал одну комнату у сапожника. — Стояли чудные осенние дни; яркие нежгучие лучи солнца грели и ласкали. В воздухе изредка носились и мелькали нежные

серебристые нити паутины; ни одного порыва ветерка, ни одной свежей резкой струйки. Масленникову не хотелось идти домой в тесную, душную квартиру, где стонала больная, еще не оправившаяся от родов, жена и пищало четверо ребят.

Здесь так хорошо, привольно... Скверы отворены, люди то и дело снуют в них, детишки резвятся...

Зелень побурела, кой-где покрылась позолотой, местами побагровела, одним словом, изменилась в своей окраске, но все еще выглядела достаточно густой, сочной, с разнообразнейшими прихотливыми тонами осени. Эта чудная осень напоминала собой утасающего праведника. В ней не было грозных и бурных порывов, резких протестов, а какая-то тихая всепокорная грусть и ласка. Цветы пышно доцветали в своей предпоследней красе с полной надеждой на возрождение.

Около присутственных мест стояло несколько извозчицких пролеток и толпился народ. В окружном суде шел разбор какого-то громкого дела.

Василий Петрович замешкался в толпе, прислушиваясь к разнообразнейшим толкам и пересудам. Он думал даже пробраться в залу, прослушать процесс, да вспомнил, что ему пора давно идти домой — жена там, чай, истосковалась... Невольный вздох вырвался из груди молодого человека.

— Что нос на квинту повесили, о чем грустите? — раздался около него чей-то участливый голос, и вслед за этими словами самолично предстал господин с угреватой физиономией, красным носом в виде сливы, рыжими щетинистыми усами, бритым подбородком, в поношенном, далеко не свежем белье, зато с щегольски повязанным красным бантом галстука. Одет он был в светлый клетчатый костюм.

Василий Петрович встrepенулcя. Целое утро бродил он с своей тоской-змеей на сердце, всем чужой, всем безвестный, ненужный и никто не обращал на него внимания. Хоть повесься, никому до тебя дела нет. Разве только го-

родовой заберет в участок, как нарушителя общественной тишины и спокойствия.

И вот нашелся добрый человек, что поинтересовался его кручиной, и молодой человек словоохотливо ответил ему, словно сбрасывая с своей души тяжелый груз накипевшего там горя.

— Спасибо, дяденька, вам за ласковое слово. Как же мне не грустить, когда обстоятельства моей жизни сложились неказисто. Притворяться я, знаете, не умею; если мне грустно, то сейчас это скажется на физиономии. В песне, я слышал, поется так: «На пиру будь с веселым лицом, на погибель идешь — песни пой соловьем...»

— Чего же убиваться! Неужто дела не поправимы? Расскажите мне, в чем суть, быть может, я вам помогу. Ум хорошо, а два лучше, — сказал красный нос, зорко оглядывая молодого человека с ног до головы, причем, как бы невзначай, обратил особенное внимание на обувь Масленникова.

— Жить нечем: я сам-шесть, жена и четверо ребят. Жена девятый день, как выписалась из родильного приюта, двух младенцев привезла оттуда и до сих пор не может опраться.

Приехал я в Киев издалека искать себе места и полгода уже слоняюсь без дела. Справил было рундучок, накупил товару, открыл торговлю — и все пропало: не идет с рук, да и только: как будто кто околдовал. Какие были деньги — прожили; теперь остался в доме только один женин салоп, незаложенный еще и представляющий собой некоторую ценность, да десять рублей в кармане. Делай с ними, что хочешь.

И он развел руками.

— Вот что, молодой человек: — здесь неудобно разговаривать, а недалече есть трактир, «Тифлисом» прозывается — зайдите туда. Я вас угощу, вы убогаторите меня, а главное — я научу вас, как найти место. Не правда ли: за умную беседу можно заплатить рублика три? Зато я вас умудрю, право слово, умудрю? — и он поднял вверх указательный палец, точно призывая небеса во свидетели.

Они направились к перекусочной. Сизый нос отрекомендовался частным поверенным, или ходатаем по различным делам Парамоном Прокофьевичем Зайцевым.

Новые знакомые вошли в трактир среднего пошиба, где Зайцев расположился как дома и потребовал водки, сельдей, сыру и т. п. Когда желаемое поставили на стол, «адвокат» налил себе в рюмочку водки и выпил залпом свою порцию, после чего предложил Василию Петровичу выпить еще и чокнуться.

Пропустив две-три рюмки, Зайцев потребовал, чтобы Масленников выложил перед ним свою биографию.

— Откровенно, ничего не утаивая, будто священнику на исповеди, — пояснил он, закусывая прозрачным куском сыра. Мне это нужно знать для некоторых комбинаций.

И пока тот рассказывал, Зайцев ел и пил.

— За этим дело не станет: извольте, с нашим отменным удовольствием, — отвечивал Василий Петрович. — Роду хорошего: папенька мой, курский купец Петр Васильевич Масленников, имел свой дом и при нем бакалейный магазин. Детей у него было много, я самый старший из них, а за мной еще до десятка братьев и сестер. Учился я в городском училище, потом стал помогать отцу в торговле. Дела наши шли не то чтобы шибко, но и не совсем плохо. Достиг я совершеннолетия и отец вздумал меня женить на одной девице, дочери своего старинного приятеля Лидии Рожковой. Мне эта девица не нравилась; она имела большой недостаток: горб на спине и, кроме того, прихрамывала на одну ногу. Тем временем случилось так, что отец по торговым делам послал меня в соседний город. Поехал я туда с деньгами и остановился на постоялом дворе у вдовы Громовой. Я и раньше останавливался у ней; признаться, меня притягивала дочка Громовой — Маша. По возвращении моем домой, отец решил обручить меня с Лидией Рожковой и даже по этому случаю велел купить кольца.

Кольца-то я купил, да вместо Рожковой посватался за Машу. Уж так она мне в то время нравилась, что я и сказать вам не сумею. Мне не отказали и я женился на Маше, о чем уведомил отца, прося его родительского благослове-

ния, а сам некоторое время приютился у тещи. Ждал, что папенька переложит гнев на милость и позовет меня к себе с молодой женой. Не тут-то было: слышу через полгода, он скоропостижно скончался и в духовном завещании как есть обделил меня. Все имущество отказал братьям, сестрам, дом матери, а мне ничего. У тещи я тоже долго не зажился: пошли у нас дети, дела ее пошатнулись... Выделила она Маше двести целковых и велела перебираться нам на свою квартиру. Не захотели мы с женой оставаться в тех краях, где нас обидели родные, и порешили попытать счастья в Киеве. Здесь надеялись на помощь ее дяди и крестного отца. Приехали, остановились в Лавре, поклонились святым Угодникам и я принялся искать себе места. Надежда наша на богатого дядюшку не осуществилась: он нас и видеть не захотел. Заходили к нему с женой два раза, так он даже не принял нас.

Живем мы здесь полгода. Места я себе мало-мальски подходящего не нашел до сей поры; состояние же семьи все ухудшается, расходы растут.

Открыл было, глядя на людей, мелочную торговлю — и мне не посчастливилось, как я уже вам докладывал. Отыскалось однажды место ухода за богатым барином, психически расстроенным, дело трудное и опасное; жена испугалась и запретила. Пробовал даже ходить в дом трудолюбия на работы. Нужда между тем настоятельно стучится в двери; дети просят есть. Делал еще попытку поступить кондуктором на городскую железную дорогу; мне ответили, что как в царство небесное трудно попасть, так и туда; просился в бакалейный магазин приказчиком — тоже получил отказ. То все еще у меня теплилась кое-какая надежда, бодрость духа, а теперь, верите ли, от постоянных неудач руки опустились: хожу целыми днями, будто ошалевший.

— Гм, вижу и понимаю, с кем имею дело. Человек вы степенный, семьянин, не забубенная головушка и вам не подобает вступать в нечестивую компанию, а надо искать прямых стезей. Вы желаете получить место кондуктора, — прекрасно. Я порекомендую, к кому вам обратиться, Здесь есть одна весьма доступная личность: некто Зосима

Вениаминович Камышинский. Он может предоставить вам какое угодно место; вы его только убедительнее попросите; человек он добрый, хороший, а у вас от поклона голова не отвалится.

— Что же делать, Василий Петрович, что делать! — повторял Зайцев, глубокомысленно сдвигая брови и впадая в пафос.

— К высокопоставленной особе, управляющей какой-либо канцелярией или округом, нам с вами не идти! Куда нам с суконным рылом, да в калашный ряд. Нас туда не пустят, а господин Камышинский всюду пролезет. Он одному моему знакомому нашел место на сто целковых в месяц, другому на полтора. Вам необходимо прибегнуть к его покровительству. В настоящее время Камышинский сам занимает видное положение, но часто он остается без места и не у дел. Бедовый старикашка! Поссорится с кем-либо, вспылит или напроказит, — его и уволят. Он не унывает и вскоре подыщет себе что-нибудь подходящее. Деятельный человек! Встает с восходом солнца и целый день на ногах. Все знает, ведает, где что творится. Открывается ли в городе какое-либо предприятие или общество, — он тут из первых, непременно примажется и станет необходимым человеком. Или сам составит какой-либо удивительный проект. Гениальная голова! На все его хватает: одной ногой он стоит на Куреневке, другой на Демиевке, а глазами видит все, что делается на Соломенке.

Слушая подвиги этого чуть ли не сказочного чудо-богатыря, приправляемые для вящего оживления рюмкой очищенной, в сердце Василия Петровича вкрадывалась надежда.

Зайцев назвал улицу и дом, где квартировал Камышинский. Масленников тщательно прописал адрес огрызком карандаша, изъятого из бокового кармана жилетки.

— Идите к нему рано, до семи часов утра. Говорят, чтобы попасть к Камышинскому, нужно всю ночь не спать. С восходом солнца он уже на ногах и бегает по городу, все увидит, все узнает, от его глаз ничего не скроется.

Бутылка опустела; лицо ходатая замаслилось в достаточной степени; глаза подернулись влагой; он как-то сразу раскис, опустился и впал в блаженное невменяемое состояние алкоголика. Рассказ о всемогуществе Камышинского на добродушного, бесхитростного Масленникова произвел должное впечатление.

— Не откладывайте в дальний ящик, завтра идите; он непременно вас устроит. Прекрасный господин, хороший человек, т. е. такой, что лучше и не надо, — говорил Зайцев ослабевшим и слегка заплетающимся языком.

Масленников пришел в свою убогую квартирку, состоявшую всего из одной комнаты с черной варистой печью. Около стенки сидела женщина лет 20. Изредка отливая синевой, ее большие черные глаза с расширившимися зрачками горели лихорадочным блеском, а нежное матовое лицо темной шатенки обрамляли пышные, несколько жесткие, волосы, вьющиеся мелкими завитками на висках. Впалые щеки вспыхивали ярким болезненным румянцем, причем маленькие губы время от времени освещала мягкая улыбка. Видно было, что она сильно волновалась и это вредно отражалось на общем состоянии ее здоровья. Рядом с ней помещалось двое спеленатых младенцев, обернутых в тряпки.

Двое старших детей сидели на полу и играли в камешки.

— Бога ты не боишься, Вася! где ты пропадал столько времени? Знаешь, что я больна, двинуться не могу! Мне еще хуже стало: голова болит и жар усилился. Если бы не сапожница, то не знаю, что бы я делала. Дети шалят, выводят меня из терпения, прямо нет сил, — жаловалась она.

— Прости, Маша. Слонялся-то я не без дела; между людьми ума-разума набираешься. Встретился с хорошим человеком, который преподал мне добрый совет... Завтра думаю использовать его, — отвечал Масленников.

— Что такое? — спросила Маша, поднимая глаза и доверчиво глядя на лицо мужа. Василий Петрович присел рядом с ней и рассказал о том, что сам услышал от Зайцева.

Подошел хозяин их: бледный, чахлый, с каким-то пухлым лицом, точно его раздуло водяной, взъерошенной головой, босой, в красной рубаше и жилетке поверх ее. Он прислушался к разговору, медленно скрутил папиросу и сказал:

— Точно, и я кое-что слышал о господине Камышинском: устраивает судьбу многих людей. Я ему как-то сапоги шил; ничего — хороший человек, — заключил сапожник и сплонул в угол, слегка подернутый сыростью и плесенью.

— Я пришел было получить должок, ну да подожду пока, что скажет вам господин Камышинский. Авось он вас устроит. Хороший человек!

II.

Робкими шагами на другое утро подвигался Масленников к дому, где квартировал Камышинский. Было еще очень рано, прохожие на улице встречались ему редко. Во дворе тоже никто ему не попадался; он долгое время блуждал от одной квартиры к другой, выжидая, не пройдет ли дворник, чтобы обратиться к нему за справками. Наконец, он сам как-то случайно отыскал квартиру Камышинского, прочитав на дощечке его фамилию, и остановился у входных дверей на лестницу, поднимавшуюся во второй этаж. Звонить так рано Масленников не считал удобным. От нечего делать, он разглядывал многочисленные постройки во дворе, ютившиеся, как казалось, одна на другой; потом перевел свои взоры на лестницу. Около ступеней и на площадке стояло несколько пустых бутылок с заграничными марками, очевидно, забытых прислугой, и Масленников еще поразила дороговизной выпитого вина.

Поблизости не находилось скамьи или диванчика и сесть не представлялось возможности.

Прождав с полчаса и чувствуя, что у него уже сомлели ноги, Василий Петрович увидел, что к лестнице подошел

еще какой-то молодой человек в более приличном платье, нежели он и прямо обратился к нему с вопросом:

— Встал он? звонили вы?

— Нет, боюсь беспокоить, — отвечал Масленников.

— Экое свинство, не на чем сесть, — пробормотал посетитель.

Тихими, вкрадчивыми шагами приблизился еще человек средних лет, с окладистой бородой, в несколько помятой шляпе и платье, хорошо знакомом со щеткой.

— Не вставал еще? — осведомился вновь прибывший.

— Спит. Возмутительно то, что у него даже приемной нет, — приходится ждать на лестнице, отозвался молодой человек.

Вошла горничная в чересчур ярком цветном туалете, с круглым румяным лицом, вздернутым носом и дерзки-нахальным взглядом.

— Барин сказали, — сейчас им некогда, а чтобы через чае пришли, — объявила она и перед самым носом посетителей хлопнула дверьми.

— Вот узоры! Не идти же шататься по городу. Я здесь обожду, — пробормотал молодой человек, очевидно, самый строптивый из всех просителей. Отыскав во дворе пень, он присел на нем и закурил папиросу.

Господин пожилых лет тоже отретировался в сторону. Только один Масленников остался на прежнем месте.

Обе оконные дверцы распахнулись с шумом, в них показалась седая голова старика, покашливавшего как бы от застарелого бронхита, и затем раздались слова:

— Поддай мне чаю, Таня, и ступай на базар: купишь дичи для жаркого, а на третье блюдо торт в кондитерской. Домашнего пирожного не умеете делать... Что ни дай вам, все — испортите! Давешний пудинг никуда не годен, только вино пропало, — брюзжал старик.

— Ваша воля, барыня выпила целую бутылку; я не виновата. Поступая к вам, я, кажется, заявляла, что сладких блюд не умею готовить, — звонким голосом отозвалась служанка.

— Барыня, барыня, — заворчал Камышинский: — обе вы хороши!

— Если недовольны, можете рассчитать меня, — бойко ответила та.

— Ну, будет!.. сердитая какая: ей скажешь одно слово, а она десять, — миролюбиво уже заметил старик, сопровождая, вероятно, эти слова каким-либо жестом с своей стороны, так как горничная громко взвизгнула, засмеялась, с шумом распахнула двери и выскочила на площадку лестницы, держа в левой руке корзину, а в правой портмоне.

— Старый греховодник! — произнесла она и с самодовольной улыбкой в лице, окинув уничижающим взглядом Масленникова и прочих просителей, промчалась мимо.

Из окна слышался кашель, потом дверцы захлопнулись.

Просители продолжали сидеть в тоскливом ожидании.

Наконец, на площадку лестницы вышел плотный, дородный старичок довольно высокого роста. В фигуре его, несмотря на преклонные годы, сказывалась молодцеватость военной выправки. Широкое с округлыми щеками лицо обрамляла седая, подстриженная бородка. Узко прорезанные глаза глядели сонно, апатично, словно были задернуты дымкой. Он держал их потупленными и лишь изредка взглядывал искоса, недружелюбно. Во взоре старика положительно отсутствовала ясность и лучистость, а, напротив, проглядывала темная муть болота и через это зеркало души сказывалась вся плоскодонность мелкой алчной натуры.

Василию Петровичу, при взгляде на Камышинского, вспомнились почему-то сказки старой бабушки, так пугавшие его в детстве, о страшном волке в овечьей шкурке; невольный холод пронизал спину молодого человека.

— Липинский, идите сюда, — поманил старик рукой молодого человека, устроившего себе импровизированное сиденье на пне.

Тот, в два три прыжка, очутился на лестнице, после чего вошел в комнату вместе с Камышинским.

— Чего же нам тут стоять? Взойдемте наверх, — сказал пожилой господин Масленникову, отступившему в глубь двора.

Скрадывая шаги, они поднялись выше по ступеням лестницы. Дверь в комнату осталась полуотворенной и весь разговор долетал к ним. Пожилой господин приник к двери и весь обратился в слух; даже уши его побагровели и вздрогнули, как у боевого коня.

Василий Петрович стоял поодаль, но тем не менее и к нему кое-что доносилось.

— Чудак вы, Липинский, — гнусавил Камышинский: — хотите задаром получить такой куш.

— Как же, Зосима Вениаминович, — даром? Ведь дело само не делается; ему нужны работники, вы за меня служить не будете, — возразил молодой человек.

— Да я этого знать не хочу: заплатите мне и я вас устрою, — нетерпеливо перебил хозяин,

— У меня теперь ничего нет; вчера последнюю визитку продал татарину, — отвечал гость. — Извольте, я выплачу вам из жалованья.

— Обещание — не есть расточительность, — отозвался Камышинский. — Выдайте мне обязательство, как гарантию своих слов.

— Я готов!.. Говорите, сколько?

— Пишите, будто состоите мне должным тысячу рублей, разновременно перебранных. Составьте два векселька и оформите их, как следует, у нотариуса.

На некоторое время воцарилось молчание.

— Зосима Вениаминович! помилосердствуйте!.. Откуда же мне взять такие деньги?! — воскликнул очевидно огорченный собеседник. — Да и за что же? Ведь вы, повторяю, за меня не станете работать, я сам должен расходовать свои силы, — взмолился тот и в голосе его уже не сказывалось строптивости, а скорее приниженные нотки просителя.

— Ну, как угодно: местами в 1,200 рублей не швыряют. Между людьми должна быть круговая порука: я вам помогаю, вы мне. Правило у меня такого рода: когда я предоставляю кому-либо место, то взимаю за это годовой оклад жалованья в рассрочку на два, или даже на три года, смотря по сумме и обоюдному соглашению. Вам я еще делаю скидку в 200 целковых. Будете ежемесячно уплачивать мне

по пятидесяти рублей. Если же вздумаете тянуть платеж, подам ко взысканию, а в случае чего — знайте — сумею скопнуть вас с места, как бы вы там прочно ни уселись. Око за око, зуб за зуб. Конечно, лучше по мировой. Решайте! Долго разговаривать мне с вами некогда. Не вы — другой найдется; охотников много. Там еще ждут просители, да и письмами я кругом завален: все с просьбами ходатайствовать о месте. Вот, не угодно ли, письмо одного студента. — И, не дожидаясь ответа, Камышинский начал читать выдержки из письма: «Глубокоуважаемый Зосима Вениаминович! Имею честь покорнейше просить, будьте отцом родным, устройте где-нибудь. Окончил курс наук с отличием, имею старушку-мать, которой желал бы помогать по мере сил...»

— Довольно, чужие письма меня не интересуют, — перебил Липинский: — а вот не сбавите ли чего-либо с тысячи.

— Не могу. Меня удивляет, что вы еще позволяете себе торговаться. Что вы, семейный человек, не можете существовать на половинное жалованье? Подумайте: из-за чего же мне в свою очередь хлопотать за вас, гнуть свою спину перед «сильными мира сего»? Я и так уже, говоря по совести, надоел всем; от одного вельможи почти вслух удостоился заслужить кличку «назойливого старикашки». Разогнался я к нему с просьбою за какого-то проходимца (Камышинский, вероятно, хотел добавить — вроде вас, но удержался), прошу его, как водится, дать место несчастненькому и, только раскланялся, вышел за двери, он, слышу, произносит: «Назойливый старикашка». Вот тебе и старайся на пользу ближнего, клади за них свой живот! Теперь куда не покажусь, все говорить: опять пришел христардничать! В мое положение, молодой человек, вы не входите, — заключил Камышинский и постучал пальцами о стол.

— Вексельные бланки есть у вас? — спросил Липинский каким-то сдавленным голосом.

— Вот пишите: состою должным такому-то за разновременно перебранную сумму денег, — диктовал Камышинский и вслед за этими словами послышался скрип пера.

— Потом как следует оформим.

— Я на все готов, — ответил Липинский.

— Так-то лучше. Состояния я не имею; расходы у меня большие; теперь вот жена больна, все нужно лишнее в дом. Вам даже стыдно пользоваться благотворительностью с моей стороны! Что вы мне? Кум, сват? За одно ваше спасибо шубы не сошьешь. Я и так по своей доброте мало беру с вас, надо бы больше, да вы чересчур упрямы, — брюзжал Камышинский.

— Готово! — воскликнул Липинский, окончив писать.

— Вон оно как дело поставлено!.. — пробормотал пожилой господин, весь красный и вспотевший, отступая от двери и поворачиваясь к Масленникову удивленным до-
мельзя лицом.

Василий Петрович тоже посторонился, слышав шаги. Немного погодя вышел Липинский на площадку лестницы, сопровождаемый Камышинским.

— Через три дня посажу вас за стол, — сказал ему на прощанье Камышинский.

— А вы, Левшин, зачем пришли? Все по тому же делу? — обратился он к пожилому господину в потертом платье и ввел его в комнату, плотно на этот раз затворив двери.

Масленников, расстроенный и подавленный, не решался подслушивать, но тем не менее к нему порой доносилось кой-что из разговора.

— Не могу, не могу! Вас трудней, нежели кого-либо другого, устроить, — кричал Камышинский: — у вас аттестат замаран, все равно что волчий билет. За вас хлопотать — только себя компрометировать. Я облагодетельствую вас, а вы потом и спасибо мне не скажете.

— Жену заложу, детей вызвольте!.. — лепетал проситель.

На лестницу, тяжело ступая, еще входил кто-то. Масленников оглянулся; новоприбывший, рослый детина, одет был в форму кондуктора городской железной дороги. Он вздыхал и временами всхлипывал: тогда могучая грудь его под толстым синим сукном мундира вздрагивала и колыхалась. По щекам текли слезы, и он отирал их синим кпетчатым платком.

Вслед за ним, шелестя шелковыми юбками, в кокетливой траурной шляпке, поднималась по лестниц пикантная вдовушка, лет тридцати восьми.

Камышинский в это время выпроваживал Левшина. Лицо последнего сияло уже довольством.

— А, Марья Дмитриевна! — воскликнул Камышинский, завидя вдовушку: — какими судьбами?! Признаться, не ожидал. Напрасно только, голубушка, побеспокоились так рано: я бы сам зашел к вам. Сейчас я занят скучными-прескучными делами, да и неудобно здесь. А вы вот что, дорогая моя, ровно в 12 часов дня приходите на главную станцию городской железной дороги и подождите меня там. Мы встретимся, зайдем в ресторанчик позавтракать, или разопьем у Семадени по чашечке шеколаду и поговорим обо всем, — при этом старикашка многозначительно подмигнул вдовушке.

— Прекрасно, — ответила та, глядя на него с улыбкой и, пожав крепко руку, спустилась с лестницы, все так же шурша шелковыми юбками и спускающимся позади куском крепа.

Кондуктор и Масленников посторонились, уступая ей дорогу.

— Ваше в-дие, — начал первый каким-то надорванным голосом: — явите божескую милость! Неужели я должен погибать, в босяки идти?..

— Пошел вон!.. Я таких мерзавцев не терплю, — оборвал его Камышинский. — Тебе что надо? — покосился он на Масленникова и, не дослушав слов последнего, пригласил его в комнату. Тот молча проследовал.

— Двери, братец, затвори на крючок, — сказал Камышинский.

Масленников молча исполнил требуемое, после чего вступил в кабинет, где у письменного стола сидел Камышинский.

— Что скажешь хорошенького? — со скучающим видом обратился к нему старик, в тоже время развернув какое-то письмо, и принялся его читать.

— Будучи наслышан о вашей милости, решился побеспокоить вас покорнейшею просьбою о месте, — и вслед за этим Масленников вкратце изложил свою биографию. В удостоверение своих слов, он предложил посмотреть его документы и полез уже за ними в карман.

— Не нужно мне этого, — брезгливым тоном отозвался Камышинский и потянулся рукой к стоявшей тут же бутылке вина, налил себе в стакан, отпил несколько глотков и вымолвил:

— Все лезут ко мне с местами, а где я наберу для вас мест? Много званных, но мало избранных, слышал это? Ты просишь место кондуктора, у меня есть, к примеру сказать, одна вакансия, а на нее просятся сто человек. Как ты думаешь, кому я должен отдать предпочтение? Достойнейшему! А чем мне докажешь, что ты именно достойнейший? а?

— Ваше б-дие, кроме души, у меня нет ничего, — отвечал бедный Василий Петрович, прикладывая руку к сердцу.

Камышинский с досадою отвернулся от него.

— Слыхал я эту песню!.. На словах вы все, как на гусях, а до чего дело придет — упретесь, — он с досадою махнул рукой. — Делай, старайся для них так, задаром, ты, Боже, видишь за что. Да я, братец ты мой, прежде всего не апостол Христов, а такой же человек, как и ты: пить, есть хочу, и у меня подметки рвутся, — брюзжал Камышинский, и в эту минуту простоватому Масленникову, в силу неизвестно какой ассоциации мысли к логики, опять вспомнились страшные бабушкины сказки; он тотчас мысленно укорил себя за глупое, почти детское чувство.

— Сделай вам добро, облагодетельствуй, а вы же потом еще меня осудите, — ворчал старик.

— Побей меня Бог, я не таков, — протестовал Василий Петрович, все еще находившийся под давлением странного, необъяснимого чувства.

— Все вы одним миром мазаны! Вот что, братец: сейчас мне некогда с тобой разговаривать. Приходи завтра, — заключил Камышинский и встал из-за стола, собираясь уходить.

— Куда я дел свой портсигар? — проговорил он, шаря по столу. Наконец, нашел его, сунул в боковой карман тужурки и оглянулся кругом себя.

Подошла служанка с базара. Камышинский отдал ей несколько приказаний и вышел, держа сигару во рту.

В фигуре его, несмотря на довольно внушительные годы, сказывалась молодцеватость: шел он быстро, с бодростью молодого человека, так что издали его можно было принять за студента. Хилый, щедушный, со впалой грудью, Масленников едва поспевал за ним.

— Ваше в-дие, не забудьте похлопотать за нас, — сказал ему дорогой Василий Петрович.

— Чудак ты, братец! Вас ведь много, а я один, не разорваться же мне. Чем ты докажешь мне, что ты лучше иных прочих? — отвечал Камышинский, пуская кольцами дым и наслаждаясь чудной свежестью утра, обещавшего ясный солнечный день.

Завидев катящийся трамвай, он почти на ходу уцепился, вскочил на него и скрылся из глаз Масленникова.

Василий Петрович поплелся назад, причем на пути зашел в один монастырь поклониться мощам святого угодника, которого всегда чтил; долго пробыл он, стоя и молясь у его гробницы.

После многих мытарств, Масленникову наконец удалось поступить по протекции Камышинского в один ресторан кассиром на 40 рублей жалованья в месяц. Захудалая семья его быстро поправилась. Они сняли себе отдельную квартиру. Маша хозяйничала: обшивала, обмывала детишек; воспитала и поставила на ноги своих близнецов, к слову сказать, премиленьких малюток, и сама похорошела: неподдельный живой румянец окрасил щеки молодой женщины.

Вдруг Василий Петрович потерял место и благосостояние семьи резко изменилось к худшему. Масленников немало огорчался этим, ходил лично объясняться с хозяином, но его не приняли. Некоторое время молодой человек опять слонялся без дела. Забота и кручина вновь свили прочное

гнездо в его душе. Впрочем, он, не теряя даром времени, подыскивал себе другое занятие.

Однажды он встретился с Зайцевым.

— А, дорогой клиент! Как поживаете? здравствуйте! — начал «адвокат» и пригласил его зайти в трактир.

Василий Петрович потребовал бутылку очищенной, пару пива, чтобы угостить старого знакомого.

— Ну что? Как вам пришелся мой совет? Хорошо вас устроил господин Камышинский? — спросил сизый нос.

— А, чтоб ему пусто было! — отозвался Масленников и махнул рукой: — ворогу своему — и тому не пожелаю так устраиваться, как устроил меня ваш прекрасный человек.

— Что ж так? Вы ведь, кажется, занимали хорошее место кассира в ресторане т-ва? — осведомился «адвокат».

— Устроил, слова нет, он меня после того, как я раз двадцать ему поклонился, потребовал, чтобы я выдал вексель на 400 рублей, с условием, чтобы каждый месяц вносил ему по пятнадцати рублей. В виду крайности и безвыходности своего положения я принял эти условия. Получил место, и что же вы думаете: в продолжение полутора года аккуратно выплачивал ему «долг». Наконец, в семье пошли неурядицы, жена захворала, — истратился я на докторов и не мог месяца два ничего заплатить. Что же вы думаете? Пошел он к хозяину и наговорил ему, будто он не может более ручаться за меня, так как случайно узнал мое прошлое и считает своим долгом предупредить. Человек я опасный: отца своего обокрал, с родины бежал, — одним словом, в таких мрачных красках обрисовал меня. Камышинскому поверили, меня уволили, не выслушав даже объяснений с моей стороны, и я очутился на улице. Опять пошли колебания; семья привыкла мало-мальски жить по-человечески и вдруг сразу лишилась всего. Долгое время я слонялся без дела; куда ни пойду с предложением труда, спросят: где вы раньше служили? отвечаю — там-то. Отчего же оттуда ушли? а мне нечего и говорить. Заберут справки в ресторане, — там голословно, со слов Камышинского, рапортуют: да он человек ненадежный, отца родного обокрал, с родины бежал. И всюду мне отказ и огорче-

ние. Хорошая слава лежит, а худая далеко бежит, говорит пословица. Господину Камышинскому грех было так поступать со мной: он одной ногою в гробу уже стоит. У человека одно было богатство только: доброе имя. Зачем же его пачкать?

Бог не без милости. Теперь мне выпадает хорошее местечко: сторожа при конторе банкира А. Квартира хозяйская, где и семья может приютиться, тридцать рублей жалованья в месяц. Я и этим очень доволен, а в особенности тем, что Камышинскому не удалось задавить меня и мое доброе имя, — заключил Масленников.

Василий Петрович до сей поры добросовестно исполняет возложенные на него обязанности.

Господин Камышинский по-прежнему энергичен, ведет крайне деятельный образ жизни, изоощряет все свои способности и силы ума для альтруистических подвигов на пользу ближнего и как же не воскликнуть вместе с Антонием Шекспира, что он — достопочтенный гражданин.

МИЛАЯ ПАРОЧКА

Очерк

По аллее Ботанического сада медленно проходила хорошенькая молоденькая женщина. На ней было черное шерстяное платье и легкая кружевная накидка такого же цвета, подбитая пунсовым шелком. На голове маленькая шляпа с фиалками; в руках молодая женщина держала изящный шелковый зонтик.

Круглое, миловидное личико обрамляли кудряшки, пышно взбитые на лбу и около щек; щечки ярко алели под черной с мушками вуалеткой. Длинный, несколько заостренный носик походил на клюв птички, но в общем не портил характера физиономии. Полные, ярко окрашенные губки, созданные как будто для одних поцелуев, вздрагивали едва уловимой улыбкой.

В воздухе носился одуряющий запах цветущих лип. Молодая женщина прошла по главной аллее и села на скамейке возле каменных истуканов. Среди гуляющих преобладала учащаяся молодежь; встречались штатские, пожилые, солидные люди, проходили также нянюшки с детьми, кормилицы, девицы-подростки и проч.

Зоркий, проницательный взгляд молодой женщины ярко блистал из-под вуалетки, внимательно следил за всеми прохожими и, казалось, улавливал и отмечал все тонкости по части женского туалета, причем оригинальное и выдающееся в костюмах в особенности приковывало ее долгие, пристальные взгляды и заставляло иногда невольный вздох вырваться из груди.

Вдруг на скамейку возле нее опустился молодой человек, лет 24-6, блондин высокого роста в светло-сером пальто, цилиндре, с пенсне на широкой черной ленте, опущенным на грудь. Лицо его хранило отпечаток веселого добродушия и беспечности. Сказывалось сейчас, что этот чело-

век, без всякой заботы, пришел сюда с исключительной целью пожуировать и весело провести время. Интересная незнакомка обратила на себя его внимание. Он несколько раз взглянул на нее и сказал:

— Вы позволите мне закурить?

— Сделайте одолжение. Я все равно сейчас уйду, — отвечала соседка.

— В таком случае зачем же... Я не позволю себе вынуть портсигар. Помилуйте: лишиться столь приятного соседства, — начал было тот.

— Мне пора уже уйти отсюда, — отвечала дама со вздохом и черные глазки ее блеснули из-под вуали.

— Куда же вам спешить! Гулянье только что начинается. Солнце еще не успело сесть. По улице теперь неприятно идти: пыль, жара, а здесь, в тени деревьев, прохладно.

— Мне нужно побывать еще в Царском саду и у памятника Владимира...

— Разве Ботанический менее приятен для вас? Мне кажется, хотя я и приезжий, что этот сад лучший из киевских садов.

— Да?.. Для меня, собственно говоря, все равно; я лишь преследую свою цель, о которой не приходится распространяться с незнакомым человеком, — спохватилась она.

— О, это препятствие можно устранить: позвольте тогда откомендоваться вам: муромский дворянин Всеволод Андреич Бороздин. Вот, кстати, моя карточка.

Обаяние прелестной незнакомки возрастало все сильнее и сильнее.

Она застенчиво и нерешительно, после некоторого раздумья, взяла визитную карточку в свою маленькую ручку, затянутую черной шелковой митенкой, через которую просвечивало беленькое худое тело.

— Кто она? Если и швейка, то во всяком случае прелестное создание, — подумал Бороздин и, воспользовавшись ее разрешением, закурил папиросу.

Молодая женщина в свою очередь назвала себя женою присяжного поверенного Авдотьей Николаевной Тукиной и, не желая продолжать дальнейшего разговора, сказала с

обворожительной улыбкой, обнаружившей белые, словно низанный жемчуг, зубы:

— До свиданья. Я ухожу.

— Может быть, прикажете вас проводить? — сказал Бороздин, вставая.

— Мне, право, жаль вас: это скучная миссия, — отвечала она с кокетливой грацией, оборачивая к нему свое миловидное личико и рдеющую щечку.

— Помилуйте, я в восторге... еще несколько минут провести в вашем обществе, — пробормотал спутник.

— Вы только шутите из лести, но если бы вы знали, какой ядовитой насмешкой звучат ваши слова для меня, — с горечью отозвалась она, следуя вместе с Бороздиным по аллее.

Заметив впереди себя парочку: господина в пальто и серой пуховой шляпе под руку с дамой, свернувших на узкую извилистую тропинку, она вскричала:

— Не «он» ли это?! — и в полузабытьи схватила молодого человека за руку и крепко сжала.

Грудь ее высоко вздымалась, глаза расширились и метали молнии, губы вздрагивали. Она тесно прижималась к удивленному спутнику и шептала:

— Наденьте, пожалуйста, пенсне и обратите внимание на ту парочку. Я плохо различаю на таком расстоянии. Тот господин не брюнет ли с черными усами и такой же бородкой, маленькой, едва заметной? Я почти уверена, что это он: у Мишеля то же серое пальто, — лепетала она.

— Успокойтесь: указываемый вами господин блондин или, лучше сказать, у него борода совершенно рыжего, почти красного цвета и на носу две бородавки, — отвечал Бороздин своей взволнованной спутнице.

— Ну, отлегло от сердца немного! — вздохнула та и, вдруг опомнившись, с ужасом отбросила от себя руку молодого человека и вспыхнула до корня волос.

— Простите, — прошептала она.

— Нет, так притворяться нельзя, — подумал Бороздин: — моя дама не на шутку начинает занимать меня. И кто эта загадочная личность — Мишель?

— Что только делается со мною сегодня! Не мудрено и совсем рассудок потерять, — говорила она, качая головкой.

— Успокойтесь: мне вы можете смело довериться. Я, сударыня, не какой-нибудь проходимец. Достаточно, думаю, сказать вам, что я довожусь племянником генеральше Хлюстиной, которая, надеюсь, была небезызвестна вам. Она недавно умерла и я, ее единственный родственник, приехал в Киев, чтобы утвердиться в правах наследства. А там я опять уеду к своим муромским лесам, куда последует за мной и тайна вашего загадочного Мишеля. Но, может быть, я сумею чем-либо помочь вам?

— Ничем... никто... — скорбным шепотом произнесла она и вдруг, в изнеможении опустившись на лавочку в укромном уголке, под душистой цветущей липой, гостеприимно раскинувшей свои ветви, закрыла лицо руками и простонала:

— Я так ужасно несчастлива!

Бороздин присел рядом с ней, не зная, что сказать милой огорченной женщине.

— Не правда ли: я молода, хороша собой. Вы это находите? — заговорила она, придвигаясь ближе к нему. — За что же меня не любят, игнорируют? И это после трех лет супружества? Что же будет дальше?

Некоторое время Бороздин ничего не мог вымолвить: он только чувствовал сильное головокружение: быть может, одуряющий запах цветущей липы ударил ему в голову.

— Выходила я замуж за Мишеля всего семнадцати лет, вскоре после выпускного экзамена в пансионе. Он так много обещал тогда. Сначала все было хорошо, но не прошло трех лет, как он начал меня обманывать. Пристрастился к картам, женщинам легкого поведения. Я оставлена, заброшена. Мне не с кем слова сказать, посоветоваться. Наконец, узнаю ужасную вещь: он завел себе постоянную привязанность в лице одной модистки... Ну, скажите, что мне делать?

— Признаться, я не могу не негодовать на вашего мужа, сказал Бороздин.

— Знаете, зачем я сюда пришла? — продолжала Авдотья Николаевна: — мне случайно попалась в руки записка модистки, где она назначает ему свидание в Ботаническом саду. Но, вероятно, они раньше увиделись, когда Мишель шел в окружной суд и переменили место свидания, потому что здесь я обошла все аллеи и не видала их. Нет, не пойду я выслеживать их, — это уж слишком унижительно. Проводите меня, мой случайный друг, прямо домой, — с горькой улыбкой сказала она, поднимаясь с места.

Бороздин изъявил полную готовность.

— Вечно одна, в тоске сомнений. Кого я вижу? Только квартирную хозяйку. Не могу же я ей жаловаться на свою судьбу! Да во всяком случае, я не унижусь до того. Вы, вероятно, удивляетесь, что я так много говорю с вами? Это уж как-то невольно сделалось. Знаете — иногда слишком сильный напор ключевой воды вырывается из недр земли и бьет живой струей.

Сравнение это понравились Бороздину.

— Я возмущен до глубины души, — отвечал молодой человек. — Я не мог бы так относиться к своей жене; нужно быть слишком легкомысленным или испорченным до мозга костей. Простите, я не имею права этого говорить, но у меня невольно возникает и просится на уста один вопрос, только без вашего предварительного разрешения я не решаюсь предложить его вам.

— Говорите, — грустно ответила Авдотья Николаевна.

— Какая сила приковывает вас к подобному человеку? Отчего вы переносите унижение, не сбросите с себя этого ярма и не уйдете от него?

— Но куда же я уйду? И знаете, как предосудительно относятся к женщинам, решившимся на такой шаг?..

Они вышли через калитку Ботанического сада на улицу и спустились вниз.

Румянец волнения угас на бледных щечках Авдотьи Николаевны. Она шла, опустив голову, тихой, медлительной поступью, опираясь на руку молодого человека.

— Вот приду домой, — там пусто, одиноко... Прислуга подаст мне самовар и отпросится куда-нибудь. Верите ли,

такая тоска нападает, что не знаю, куда деться от нее. Я или плачу несколько часов подряд, или неподвижно просиживаю, будто в столбняке. А какой ад раньше переживала я — о том нечего и говорить; теперь по крайней мере стихли муки ревности.

— Мне кажется, вы все еще продолжаете его любить, — сказал Бороздин.

— Нет, я его ненавижу! — вздрогнув вся, произнесла Авдотья Николаевна. — Он мне временами гадок. Кажется, вы правы; я должна его бросить. Что ж, пойду в гувернантки, бонны, наконец, лишу себя жизни; все равно так жить невыносимо.

— О, что вы говорите! — остановил ее Бороздин.

— А что же? — горячо протестовала Авдотья Николаевна. — Жить позволительно до тех пор, пока это возможно, но когда твое существование отливается в уродливые формы, тогда вполне допустимо самоубийство.

— Никогда, ни при каких обстоятельствах, — возражал Бороздин; — не должно лишать себя жизни, этого величайшего блага. Надо всегда искать выхода из нежелательного положения.

— Вот моя квартира, — сказала Авдотья Николаевна, — останавливаясь у входной двери небольшого домика в три окна, окруженного палисадником. — Мы снимаем весь дом... Тут шесть комнат. Мне кажется пусто, неуютно, когда я одна среди этой анфилады. Хотите зайти ко мне? Мужа все равно нет дома.

Она позвонила.

Никто не шел отворять дверей.

— Прислуга, вероятно, в кухне, — догадалась Авдотья Николаевна, вынула из кармана ключ, отворила дверь в коридоре и вошла. Бороздин последовал за ней в полутемную переднюю, где помог Авдотье Николаевне раздеться: снять накидку и шляпку.

Сумерки достаточно сгустились, так что предметы, теряя свои определенные контуры, расплывались и с трудом различались. Бороздин совершенно не мог разобрать об-

становки следующей комнаты, куда он вступил вслед за хозяйкой.

— Сейчас зажгу лампу, — сказала Авдотья Николаевна: — я сама боюсь мрака. Иногда мне кажется, будто в том углу шевелится Психея, моя любимая статуэтка, подарок папы в день свадьбы. Ах, где же тут спички! Я их не нахожу. Паша не наложила в спичечницу.

В темноте руки их встретились. Пальцы Авдотьи Николаевны горели как в огне и вздрагивали. Точно электрический ток пробежал по жилам молодого человека и у него еще сильнее закружилась голова.

— Позвольте, у меня спички, — сказал он, зажигая огонь.

Обаяние молодой прелестной женщины все возрастало. Ему до боли сердца становилось жаль милую, прелестную Авдотью Николаевну, столь несчастную, и вместе с тем он чувствовал прилив негодования к неизвестному, но уже ненавистному ему Мишелю, который не сумел оценить милое прелестное создание.

— Мерси, — произнесла она своим мелодичным голосом, когда он зажег ее большую нарядную лампу с розовым стеклянным абажуром, покрытым изящно вышитым японски куском шелка.

— Садитесь. Я пойду переоденусь пока и кстати посмотрю, что делает Паша.

С этими словами она удалилась.

Бороздин остался один в комнате. Обстановка показала ему более, нежели приличной и как-то празднично нарядной. Мягкая мебель — диван и кресла обиты пунсовым плюшем; очень дорогой, пестрый ковер на полу; масса цветов и безделушек на этажерке. По стенам картины в багетовых рамах с веселенькими сюжетами. В одном из уголков, между кадками цветущих растений, белела на пьедестале Психея, будто наказанная за шалости семилетняя девочка.

Через несколько минут возвратилась хозяйка в легком фуляровом платье, в котором выглядела еще милее.

— Садитесь сюда ближе, — сказала она, указывая Бороздину место возле себя на диване. — Сейчас принесут само-

вар. В кухне у Паши, как я и ожидала, сидит неизбежный «кум-пожарный».

— Верите: порой я даже завидую своей служанке. Зайду невзначай в кухню и вижу, что с ней сидит ее кум и беседует. Она уже стара, некрасива и ее любят. Иногда этот пожарный наводит на меня ужас: может ворваться, когда я одна, и задушить.

Вошла женщина лет 37 со смуглым цыганским лицом, черными сросшимися бровями и лукаво сложенными, будто улыбающимися, губами. Она принесла маленький чайный столик, стаканы, вазу для варенья; все делала быстро, с какой-то особенной ловкостью.

— Купите печенья к чаю и вина. Возьмите в кабинете барина портмоне и принесите сюда. Я вам дам денег, — сказала Авдотья Николаевна.

— Барин с собою унесли кошелек, — заявила служанка.

— Ах, какая досада! Неужели он это сделал?

— Да, я видела, что они спрятали его в боковой карман.

— Вот милые вещи со стороны Мишеля! Что же я буду делать без денег?

— Возьмите у меня, — нетерпеливо сказал Бороздин, открывая свой туго набитый бумажник. Ему надоели все препирательства с служанкой и хотелось поскорее остаться наедине с прелестной хозяйкой.

— Нет, я готова отказаться от печенья, — протестовала Авдотья Николаевна. — Там у нас в буфете есть, кажется, домашние булки и вино, — обратилась она опять к Паше.

— Вина нет: барин вчера за обедом последнюю бутылку допили и булки сухие-с, — вставила Прасковья.

— Ну, Авдотья Николаевна, что за мелочи: возьмите и прикажите, что вам угодно. Стоит ли так много говорить о презренном металле! — просил Бороздин.

— Да! — вздохнула Авдотья Николаевна и взяла, как бы нехотя, какую то кредитку. — Идите, Прасковья, и купите скорей, что нужно.

Служанка удалилась.

Минут через десять на столе появился самовар, пирожное, две бутылки вина, холодное жаркое из дичи и еще

кой-что. Пока Прасковья приготавлила, Авдотья Николаевна рассказала гостю о своем детстве, пансионских подружках и с аппетитом выпила две чашки чаю.

Наконец, самовар убрали. Прасковья отпросилась погулять немного. После нескольких словопрений, Авдотья Николаевна решила отпустить ее.

Оставшись одни, молодые люди неизбежно вернулись к тому разговору, который начали в саду.

— Вот скоро 12 часов ночи. Где он, как вы думаете? — говорила она, как бы спрашивая Бороздина — и продолжала: — отыщется разве завтра часов в десять, но случается, что дня три подряд я его не вижу.

— Верьте, что он безумец: вы так молоды, прелестны, в вас столько жизни, огня!.. — с восторгом перечислял молодой человек. — Простите: это не обычные комплименты, а искреннее непосредственное впечатление. На месте вашем я бы постарался с корнем вырвать из сердца Мишеля и отдать свое чувство другому, достойнейшему, кто способен понимать вас и любить.

— Нравлюсь я вам, не правда ли? Вы бы могли любить меня? — застенчиво произнесла Авдотья Николаевна.

— О, вы еще спрашиваете! — порывисто отвечал молодой человек и встал с места, но потом опять сел на диван возле молодой женщины.

— Вы неотразимы, Авдотья Николаевна, — сказал он. — Правда, я мало вас знаю, но мое первое впечатление еще никогда меня не обманывало. Мне кажется, что ваша душа и вообще все внутреннее содержимое должно соответствовать внешнему и быть так же прекрасно. Неужели ваши глаза способны лгать? Они смотрят невинно, доверчиво, совсем по-детски, только задержаны флером грусти. О, как бы я желал, чтобы они озарились блеском радости! Если бы я имел право сделать вас счастливой... то приложил бы все усилия и старания, не пощадил бы, кажется, жизни своей...

— Любите меня, — сказала Авдотья Николаевна, склоняясь к его плечу своей головкой.

Бороздин прижал ее к своему сердцу и страстно поцеловал.

— Бросить все и бежать с тобой, начать совсем новую жизнь, шептала она в полузабытьи: — ты так внимателен ко мне будешь, нежен. Ты лучше, красивей его: у тебя чудный цвет лица и светлые вьющиеся волосы...

Страстные поцелуи заглушили слова Авдотьи Николаевны. Она упивалась ими и в свою очередь, с не меньшей горячностью, отвечала на них.

А летняя ночь, глядевшая в окна, проносилась, летела, будто на крыльях.

Воздух точно замер, без малейшего колебания ветерка. Окна, завешенные шторами, открыты в палисадник, но там тихо, даже листья тополей не дрогнут, не шелохнутся, будто и они отягчены тяжелым, непробудным сном.

Голова Авдотьи Николаевны клонилась все ниже и ниже...

Вдруг Бороздин заметил, что милое лицо молодой женщины изобразило ужас, и на мгновение словно окаменело в нем, глаза расширились, губы полуоткрылись, она вся вздрогнула и затрепетала.

— Муж, муж!!... — закричала она не своим голосом.

На пороге комнаты показался человек лет тридцати, среднего роста, брюнет, с черными усами и нечисто бритой бородой. На нем был темный суконный сюртук, белая глаженная рубаша, несколько смятая; в руках он держал увесистую палку.

Несколько минут он молча простоял на пороге, точно созерцая жену в объятиях соперника, и вдруг с бешенством подступил к растерявшимся молодым людям.

Бороздин вспыхнул, как зарево, а в голову ему, казалось, влили расплавленного свинца и ошпарили мозг.

Авдотья Николаевна побледнела и, откинувшись на спинку дивана, лишилась чувств.

— Вы здесь, с моей женой?!.. — хриплым голосом заговорил оскорбленный муж. — Ни с места, иначе я вас задушу!

— Я не намерен бежать и скрываться, напротив, готов дать какое угодно удовлетворение вам... дуэль... — бормотал Бороздин.

— Эге! слышали мы эти сказки — дуэль, а сам думаешь, брат, удрать и только я тебя видел, — ищи ветра в поле. За соблазн чужой жены вы знаете, милостивый государь, что полагается? Я имею право сейчас застрелить вас, но я великодушнее, нежели вы думаете: все эти дуэли и убийства считаю пустяками. Выкладывайте вот сейчас сюда на стол ваш бумажник со всем его содержимым. Это будет чувствительнее для вас и для меня.

— Всего не могу... часть денег, — извольте, отвечал не оправившийся еще от смущения Бороздин.

— Не рассуждайте, иначе я вас убью! — грозно прикрикнул муж. — Не думайте убежать: двери заперты, а если в окно выскочите — я подниму крик, призову дворников, городских и все равно задержу вас. Имею право это сделать, потому что застал вас в своем доме вором, похищающим чужую собственность. Что в сравнении с моей женой ваш жалкий бумажник! — трагически воскликнул он и подступил ближе к Бороздину, размахивая палкой.

Авдотья Николаевна шевельнулась и слабо застонала на диване.

Молодой человек, еще не оправившийся от смущения, чувствуя сильную головную боль и самое удручающее впечатление от этой тяжелой, дикой сцены, почти бессознательно выхватил из кармана бумажник, бросил на стол и быстро повернулся к выходным дверям.

Они оказались запертыми на ключ.

Хозяин, успевший уже завладеть бумажником, молча наблюдал за гостем: отворил дверь, предупредительно вручил ему шляпу в руки и жестом, полным достоинства, указал на выход.

Бороздин шатающейся походкой вышел на улицу.

По его уходе Мишель опять замкнул дверь на замок, приотворил окна, сделал два-три удивительных прыжка по комнате, прищелкивая пальцами, покружился и подскочил к лежащей на диване жене со словами:

— Вставай, Дунечка, ушел уже! Вот большое спасибо тебе, умница ты у меня. Целый год прожить можно в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывая.

Дуня быстро поднялась с дивана; супруги нежно обняли друг друга.

— Пока ты тут с ним объяснялся, я немного вздремнула и мне приснились удивительные бриллиантовые сережки, просто чудо. Надоел мне ужасно наш гость, я так утомилась, разговаривая с ним. Идем в спальню и там сосчитаем деньги. Неси туда лампу, вино, конфеты, холодную дичь. Смотри, голубчик, чтобы он не вздумал вернуться, как прошлый год один франт сделал. Еще, пожалуй, обыск учинят. Давай я их подальше припрячу: в подушечку зашью, — торопливо говорила Дуня.

Супруги прошли в маленькую уютную комнату. Они принесли туда лампу и кой-что из съедобного.

Дуня завесила окна плотной суконной шторой и лихо-радочно принялась сосчитывать деньги.

— Три тысячи! — воскликнула она, сверкая глазами.

У Мишеля тоже разгорелись глаза, покраснели щеки и руки дрожали мелкой, нервической дрожью, когда он брался за новые шуршащие бумажки, пересчитывая и откладывая их в сторону. После этого Дуня распорол подушку, вложила туда деньги, зашила ее и сказала мужу:

— Тебе можно будет сделать новую фрачную пару, а то эта уже не совсем прилична; мне тоже нужно два-три туалета.

— Оденемся, поживем, — весело ответил Мишель. — Пой, кошечка, я тебя еще раз поцелую, — говорил нежный супруг.

Дуня подставила ему свою щечку и звонко рассмеялась.

— Что с тобой, кошечка? — спросил муж.

— С гостя смеюсь. Настоящий муромский медведь: поверил всему, что я говорила. Однако из меня недурная актриса вышла бы.

— Кто он такой? — спрашивал Мишель, отрезывая себе кусочек дичи и запивая рюмкой сладкого вина. — Собою красавец, рослый такой. Я на него кричу, подступая с ду-

биною, а у самого, что называется, душа в пятки уходит. Ну, думаю, хватит меня детина кулаком по голове, только я на свете и жил. Словно богатырь Илья Муромец; лезть не стоит на рожон, хотел уже отступать. Гляжу, он бумажник выложил. Не были ли его предки разбойниками в муромских лесах, что он так легко относится к деньгам, цены им не знает? Ты думаешь, он обратится к полиции за помощью и у нас учинят форменный обыск? Чего доброго, детина одумается и сообразит. Надо приготовиться ко всему, — говорил Мишель и закусывал с аппетитом холодной дичью.

— Обыск — неприятная история, только что же он может доказать, кроме своей глупости? — рассуждал Мишель. — Денежки я припрячу в другое место. Нет, я думаю, детина не станет нас преследовать. Ты говоришь, он богатый, приехал получать наследство Хлюстиной. Этот род я знаю: благородный, деликатный, потомственные дворяне; им честь дороже денег. Нет, если родственник Хлюстиной — не станет поднимать истории.

Мимоходом Мишель передал жене все, что знал о Хлюстиной, включительно до мельчайших подробностей ее интимной жизни. Покойная генеральша не могла бы, конечно, придумать, какие цели руководили Мишелем в изучении ее жизни, но это оставалось известным одному ему и составляло его неотъемлемую собственность и гордость.

— Вели, женка, разогреть самоварчик; выпьем чайку на радостях. Спать что-то не хочется, — сказал Мишель, раскуривая дорогую гаванскую сигару и комфортабельно разлегшись в мягком кресле.

Дуня вышла в кухню отдать приказание прислуге и сейчас же возвратилась.

Вслед за ней явилась Прасковья, неся кипящий самовар.

— Я знала, что барин скоро придут и приготовила самовар, — сказала Прасковья.

— Вот молодец за это. Выпейте вина, Паша, — сказал Мишель, налил собственноручно полную рюмку и подал служанке вместе с нарезанными на булку ломтиками дичи.

— Будьте здоровы! — пожелала Паша своим господам, выпила вино, закусила, после чего сказала: «А вино очень хорошее». Мишель налил ей другую рюмку.

— Будет, барин, не извольте беспокоиться, — отнекивалась служанка, но все же выпила с большим удовольствием.

— Вот вам еще на орехи, — произнес Мишель, порывшись в кармане и отыскав там рубль. — Теперь идите себе. Больше не будем уже вас звать. Можете ложиться спать.

— Благодарю вас, барин, и вас, барыня, — говорила Паша, целуя им поочередно руки. — Я ж всем говорю, что таких добрых, хороших господ во всем свете поискать — не найдешь, — разразилась она в заключение.

Мишель засмеялся тихим, счастливым смехом, так смеются люди вполне счастливые, удовлетворенные жизнью.

С изъявлениями благодарности и признательности Праксесовья удалилась.

— Завтра ты ей что-нибудь, Дунечка, подари. Нужно, чтобы она всегда была на нашей стороне, — сказал Мишель жене.

— Паша и так мне предана. В огонь и воду пойдет, — отвечала Дуня.

Мишель сидел, откинувшись на спинку кресла, и медлительными глотками потягивал душистую влагу из своего стакана.

Черные, узкие глаза его весело и беспечно блистали, а губы от поры до времени растягивала улыбка. На несколько минут он призадумался было, глаза его приняли сосредоточенное выражение и утратили свой блеск. Он вынул сигару, закурил ее, и весь покрывшись облаками дыма, сидел, очевидно, что-то обдумывая, потом сказал жене:

— Ты знаешь, Дунечка, богача Быкова? Недурно было бы тебе с ним познакомиться, этак невзначай встретиться где-нибудь, пригласить к себе.

Мишель покрутил пальцем в воздухе и принялся более подробно развивать свою идею относительно знакомства с богачом Быковым.

Дуня внимательно слушала мужа, попивая чаек и грызя ванилевые сухарики своими мелкими, хорошенькими зубками и от поры до времени кивала головкой в знак согласия.

Милые супруги благодушествуют по сию пору. Мишель посещает все клубы, играет в азартные игры. Дунечка иногда сопровождает его. Она по-прежнему блистает туалетами, молодостью и красотой.

Книга Ольги Павловны Шалацкой впервые вышла в свет под названием «Тайны города Киева» в издании С. В. Кульженко (Киев, 1904). Публикуется по этому изданию в новой орфографии, с исправлением пунктуации и ряда наиболее очевидных опечаток. В книге сохранен порядок расположения материала и иллюстрации из оригинального издания.

Оглавление

Киевские крокодилы. <i>Роман</i>	6
Рассказы и очерки	
Кто ее убил. <i>Рассказ</i>	161
Маевка. <i>Рассказ</i>	182
Страница прошлого. <i>Рассказ</i>	201
Хороший человек. <i>Очерк</i>	215
Милая парочка. <i>Очерк</i>	233

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.